МАРШАЛ В ЧУЖОМ МУНДИРЕ

АЛЕКСАНДР ФРОСТ



Маршал в чужом мундире(полный)

Александр Фрост

Маршал в чужом мундире

«Автор»
2026

Фрост А.

Маршал в чужом мундире / А. Фрост — «Автор», 2026 — (Маршал в чужом мундире(полный))

Сорок кампаний. Ни одного поражения. И бокал отравленного вина на собственном триумфе — потому что маршал, выигравший все войны, стал не нужен.Кассий Валдар открыл глаза в чужом теле. Девятнадцать лет, парадный мундир не по плечу, космический флот вместо конницы — и место двадцать третьего в очереди наследования Дома Нахимовых. Рода, который триста лет живёт славой великого предка и давно разучился воевать.Митьку Нахимова всерьёз не воспринимает никто. Потому ему и доверили операцию «Венец»: восемь списанных кораблей, экипаж из штрафников и разжалованных, топлива ровно на прыжок в один конец и приказ атаковать в лоб крепость, которую не взяли даже с полным флотом.От него не ждут победы. От него ждут красивого некролога.Зря.Техника меняется. Война — нет. Снабжение, разведка, обман и боевой дух решают всё так же, как тысячу лет назад. Просто здесь об этом успели забыть.А он — помнит.

© Фрост А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Двадцать третий 5
Глава 2. Честь рода 9
Глава 3. Смотр 12
Глава 4. Штаб 16
Глава 5. Пена 20
Глава 6. Устье 24
Глава 7. Ревизия 32
Глава 8. Позиция 39
Конец ознакомительного фрагмента. 45

Маршал в чужом мундире

Глава 1. Двадцать третий

Первое, что я понял: потолок чужой.

Свой я изучил хорошо. Свой был из тёмного дуба, с балкой поперёк, и на балке — след от копья, которое метнул в меня генерал Ойрен за месяц до того, как я его повесил. Хороший был потолок. Честный.

Этот был белый, гладкий и светился сам по себе. Ровным, спокойным, ненавязчивым светом, будто извинялся за то, что светит.

Второе, что я понял: руки чужие тоже.

Я поднял их перед лицом — медленно, потому что быстро не вышло. Узкие. Бледные. Пальцы длинные, ногти чистые, ни одной мозоли. Такими руками не держат ни повод, ни клинок, ни даже приличное перо. Такими руками поправляют кружево на манжете.

Я сжал кулак. Кулак получился жалкий.

Итак. Рекогносцировка.

Всякий здравомыслящий человек, очнувшись в чужом теле, начал бы кричать. Я сорок лет учил офицеров, что паника — это просто отсутствие плана, а план всегда начинается с одного вопроса: где я нахожусь и что вокруг меня?

Комната. Шесть шагов в длину, четыре в ширину — я прикинул на глаз, глаз не подвёл ни разу за две войны. Кровать, на которой я лежу. Стол. Шкаф. Дверь одна. Окно одно.

Один выход — это плохо. Один выход — это мышеловка.

Окно было занавешено чем-то плотным. Я сполз с кровати, встал — и меня повело так, что пришлось хвататься за столбик. Ноги держали, но обсуждали это со мной.

Три шага до окна дались тяжелее, чем в своё время шесть верст по грязи под Мьером. Я отдёрнул занавесь.

И надолго замолчал.

Внизу не было земли.

Внизу был город, но город лежал не подо мной, а как-то сбоку и вдалеке, весь в огнях, и над ним — ещё один город, поменьше, висящий в воздухе без всякой опоры. А дальше, за ними, начиналась чернота. Не ночь. Ночь я видел, ночь — это когда темно и звёзды сверху. Тут чернота была со всех сторон сразу, и в ней плавали огни, и один из этих огней — длинный, вытянутый, с рядами светящихся точек вдоль борта — медленно, беззвучно прошёл мимо окна.

Я стоял и смотрел, как эта штука уходит вверх и вбок.

— Так, — сказал я вслух. Голос был не мой. Высокий, ломкий, мальчишеский. — Так.

В моём мире был город Кетал, где жили астрономы. Умные люди, я их берёг, они мне считали баллистику. Один из них однажды за вином сказал, что звёзды — это далёкие солнца, и что вокруг них, вероятно, крутятся свои земли. Я тогда посмеялся и налил ему ещё.

Надо будет извиниться. Правда, до Кетала теперь, судя по всему, далековато.

Дверь открылась.

Я развернулся быстрее, чем позволяло тело, и тело отомстило — в глазах поплыло, и я взялся за подоконник.

В дверях стояла женщина лет пятидесяти. Круглая, в переднике, с подносом. Увидев меня на ногах, она ойкнула, поставила поднос на стол и кинулась ко мне так, будто я был не человеком, а падающей вазой.

— Митенька! Митенька, ты чего вскочил! Ложись, ложись сейчас же!

Меня взяли за плечи и повели к кровати. Я позволил.

Сорок лет никто не смел ко мне прикоснуться без разрешения. Женщина, которая называет меня Митенькой, укладывала меня в постель и приговаривала, и была при этом совершенно уверена в своём праве. Я решил не спорить. Спорить, не зная обстановки, — это не храбрость, а глупость.

— Три дня в горячке лежал, — говорила она, взбивая подушку с яростью, которой позавидовал бы штурмовой сапёр. — Три дня! Я говорила Аркадию Александровичу: доиграетесь вы с мальчиком. А он мне: не твоего ума дело, Марфа.

Аркадий Александрович. Записал.

Марфа. Записал.

— Я упал, — сказал я осторожно.

Это была ставка вслепую. Люди в горячке падают, дерутся или пьют, и любой из трёх вариантов позволил бы мне списать провалы в памяти.

— Упал! — Марфа всплеснула руками. — С балюстрады он упал! Тебя оттуда столкнули, Митенька, а ты «упал». Молчишь, как всегда молчишь. Двадцать третий он, видите ли. Двадцать третьему и заступиться некому.

Я лежал очень тихо.

Двадцать третий.

В моём мире был обычай: если у сюзерена много сыновей, младших отдавали в храм, в наёмники или в мужья дальним родственницам. Двадцать третьего сына не бывало ни у кого, потому что двадцать третьему сыну проще было умереть в младенчестве, и обычно он так и делал.

— Марфа, — произнёс я. — У меня в голове всё перепуталось. Скажи мне, как есть, как маленькому. Кто я?

Она замерла с подушкой в руках.

Я смотрел на неё снизу вверх глазами девятнадцатилетнего мальчишки, и, судя по тому, как у неё задрожал подбородок, зрелище было убедительное.

— Ох ты ж, Господи, — прошептала она. — Головой-то приложился...

— Кто я, Марфа.

— Дмитрий Александрович ты. — Она села на край кровати. — Нахимов. Двадцать третий в очереди Дома Нахимовых. Отец твой — князь Александр Петрович. Тебе девятнадцать. Мать твоя, царствие ей, была из мелких, потому тебя и не жалуют.

— А Нахимовы — это кто?

Марфа посмотрела на меня с ужасом. Кажется, я задал вопрос уровня «а зачем людям голова».

— Флот, — сказала она наконец. — Нахимовы — это флот, Митенька. Весь Дом на флоте стоит. Предок ваш великий, что при Синопе... — она махнула рукой куда-то в потолок, где, надо полагать, находился Синоп. — Портреты в галерее, поминовения каждый год, гимн вот этот их. Триста лет фамилией живут.

— А воюют?

— Чего?

— Воюют они? Сейчас.

Марфа хмыкнула. Хмыкнула она так, как хмыкают старые солдатские вдовы, когда при них хвалят интендантов.

— Парадами ходят. Красиво ходят. Загляденье.

Я закрыл глаза.

Значит, так. Род с великим именем, живущий славой мёртвого предка. Флот, который триста лет ходит парадами. Двадцать третий сын от нелюбимой жены, которого сталкивают с балюстрады и никто за него не вступается.

Плюс: небо, в котором плавают железные острова, и я не понимаю в них ни единого гвоздя.

Минус: тело, которое не поднимет полный кувшин.

Двойной минус: ни имени, ни людей, ни денег, ни оружия.

За сорок кампаний у меня бывали расклады и похуже. Не сильно, но бывали.

— Марфа Игнатьевна, — сказал я, не открывая глаз.

— Ох. Так меня отец твой зовёт, когда виноват.

— Марфа Игнатьевна, принесите поесть. Много. Мясо, если есть. И скажите: в этом доме можно где-нибудь взять карты?

— Карты? — Она нахмурилась. — Ты ж не играешь, Митенька.

— Не игральные. Карты земель. Где что находится, где чья граница, где чей флот стоит.

Пауза была долгая.

— Митенька, — сказала Марфа очень осторожно. — Может, лекаря позвать?

Мясо принесли. Хорошее, кстати. За это заведение уже можно было воевать.

Я ел и думал.

Помнил я всё до последней минуты, и это была самая неприятная часть.

Триумф. Столица. Сорок кампаний, последняя война окончена, империя от моря до гор, мои полки идут по площади, и толпа орёт так, что закладывает уши. Мне пятьдесят восемь, у меня болит колено, и я думаю о том, что через месяц поеду наконец в поместье и посажу яблони.

Пир. Император поднимает кубок. Совет поднимает кубки. Мой сосед справа, старый Тервейн, с которым мы под Мьером стояли спина к спине, улыбается мне и говорит: «За Непобеждённого».

И я пью.

Вино было дорогое. Даже сейчас, вспоминая, могу сказать: очень дорогое. Из уважения, надо полагать.

Их можно было понять — и это бесило больше всего. Я бы тоже себя убил, если бы был ими. Человек, который выиграл все войны и которого обожает армия, — это не герой, это заряженный арбалет, лежащий на столе во время семейного ужина. Рано или поздно он выстрелит.

Ошибка была моя. Я предусмотрел всё, кроме одного направления удара: не с фронта, не с флангов, не с тыла. Сверху. От тех, кому служил.

Второй раз я такой ошибки не сделаю.

Второй раз я просто не буду нужен. Двадцать третий в очереди — прекрасная должность. Никто не завидует двадцать третьему. Тихо живёшь, ешь мясо, читаешь карты, никого не побеждаешь.

План был отличный. Я даже успел им немного насладиться.

Дверь распахнулась без стука.

Вошёл человек в чёрно-серебряном мундире, с планшетом в руке, с лицом усталым и брезгливым одновременно — так смотрят на почтовую лошадь, которая посмела заболеть.

— Нахимов Дмитрий Александрович? — спросил он.

Я отложил вилку.

— Допустим.

— Курьер Адмиралтейства. — Он ткнул планшетом в мою сторону, и в воздухе над столом развернулся светящийся лист с гербом. Я даже не вздрогнул. Почти. — Приказ. Ознакомьтесь и подтвердите.

Я прочёл.

Читал я медленно — глаза были мальчишкины, а слова незнакомые, — но суть выловил с третьей строки, и суть была великолепна.

Мичман Д. А. Нахимов назначался командующим отдельного соединения «Венец».

Соединению «Венец» надлежало войти в систему Тарнис и штурмовать одноимённую крепость Конкордата.

Выделялось: восемь вымпелов. Личный состав — согласно приложению.

Срок выхода — шесть суток.

Я поднял глаза.

— Восемь кораблей, — продолжил я. — А сколько у них?

Курьер моргнул. Похоже, вопросов от меня не ждали. Вообще никаких.

— В приложении, — ответил он.

— Я спрашиваю вас.

— Господин мичман, я не...

— Сколько.

Что-то в моём голосе всё-таки сработало. Голос был мальчишеский, но этой интонацией я разворачивал полки, и она никуда не делась.

— Гарнизон Тарниса — около сорока вымпелов, — сказал курьер. — Плюс стационарная оборона. Плюс минные поля.

Я кивнул и вернулся к приказу.

Восемь против сорока. В лоб. С кораблями, о которых в приложении честно написано «выведены из первой линии», что на любом языке любого мира означает «рухлядь». С экипажами, набранными — я нашёл нужную строку — из штрафной команды базы Ольгинской.

Это был не приказ. Это был некролог, которому осталось дописать дату.

И, надо признать, сработано аккуратно. Никто не сталкивает двадцать третьего с балюстрады во второй раз — это уже пошло. Гораздо приличнее, когда мальчик героически гибнет в бою за империю. Роду — траурная слава, портрет в галерее, речь на поминовении. Дёшево, красиво и хоронить нечего.

Я поймал себя на том, что улыбаюсь.

Курьер посмотрел на меня с опаской.

— Что?

— Ничего. — Я взял стилус, который он мне протягивал. — Просто у вас забавно составлен приказ.

— Забавно?

— Тут написано «штурмовать крепость». — Я расписался — рука вывела чужой росчерк сама, тело помнило. — Но нигде не написано, что штурмовать её надо там, где она стоит.

Курьер молчал.

— Не берите в голову. — Я потёр глаза. — Шучу.

Я не шутил.

Глава 2. Честь рода

Утром за мной пришли.

Я, разумеется, не спал. Я ходил по комнате, шесть шагов туда, шесть обратно, и мучил единственный источник сведений, который у меня был, — саму комнату.

К рассвету я знал следующее.

Первое: светящиеся листы в воздухе тут в порядке вещей, и стол умеет их показывать, если по нему постучать в нужном месте. Я нашёл это место случайно, стукнув с досады.

Второе: у Митьки Нахимова в столе не было ни одной карты, ни одного донесения, ни одной книги о войне. Зато были: долговая расписка на сумму, которую я не смог оценить, засушенный цветок и триста двенадцать сохранённых записей одной и той же гонки летающих лодок.

Третье: мальчик, в чьём теле я сижу, за девятнадцать лет не сделал ничего. Совсем ничего. Его никто не бил, кроме одного раза на балюстраде, потому что бить его было незачем — он не мешал.

Я стоял над столом и испытывал странное, незнакомое чувство. У меня умирали адъютанты, у меня выгорали города, я подписывал приказы, после которых полки не возвращались. Ничего этого я не забыл, но и не носил с собой — иначе бы не дошёл.

А вот засушенный цветок в столе у парня, которого столкнули и даже не заметили, отчего-то встал поперёк горла.

— Ладно, — сказал я цветку. — Посмотрим, что можно сделать с твоей фамилией.

Тут и пришли.

Двое в ливреях. Ливреи чёрные с серебром, как у курьера, только богаче, и вид у обоих был такой, будто их послали вынести мусор, а мусор ещё и разговаривает.

— Аркадий Александрович ожидает.

Дом Нахимовых оказался не домом. Дом Нахимовых оказался крепостью, которую какой-то безумец решил построить из мрамора, стекла и тщеславия.

Меня вели через галерею, и я впервые увидел то, чем живёт этот род.

Портреты. Десятки. Сотни. Мужчины в мундирах разных эпох, с одинаковым выражением лица — тем самым, которое художникам заказывают отдельно и дороже. Под каждым — табличка. Я читал на ходу: «Адмирал такой-то. Победа при таком-то». Даты уходили в глубину веков, и чем глубже, тем крупнее были буквы на табличках.

А ближе к нашему времени таблички мельчали. «Церемониймейстер флота». «Кавалер ордена». «Почётный смотритель верфей». Победы кончились примерно на трети галереи, и дальше шли триста лет должностей.

Я остановился у последнего портрета с настоящей победой. Мужчина в старом мундире, лицо худое, глаза как у человека, который спит по четыре часа.

— Идёмте, — сказал ливрейный.

— Минуту.

Я смотрел на портрет, портрет смотрел на меня.

Я знал этот взгляд. Я видел его в зеркале тридцать лет подряд.

«Здравствуй, — подумал я. — Не знаю, кто ты, старик, но, кажется, я единственный в этом доме, кто понимает, чем ты занимался».

Аркадий Александрович Нахимов, четвёртый в очереди, распорядитель Дома, принял меня в кабинете размером с плац.

Он был красив. Это надо признать честно: высокий, широкоплечий, с той идеальной выправкой, которая ставится не строем, а зеркалом. Мундир сидел на нём как влитой. Наград было столько, что я невольно прикинул их общий вес и решил, что в атаку он в этом не побежит.

— Дмитрий, — сказал он, не вставая. — Ты подписал приказ.

— Подписал.

— Хорошо. — Он побарабанил пальцами по столу. — Отец доволен. Ты наконец-то делаешь что-то для рода.

Я стоял и молчал. Молчать — это половина всякой беседы, и та половина, которую обычно проигрывают.

Аркадий не выдержал секунд через десять.

— Ты понимаешь, что это большая честь? Тебе девятнадцать, а тебе доверяют соединение. В твои годы я командовал катером на смотровых манёврах.

— Понимаю, — проговорил я. — У меня есть вопросы.

Он поднял бровь.

— Вопросы?

— Восемь вопросов. По числу вымпелов. — Я подошёл ближе. — Первый. Кто снабжает Тарнис?

Тишина.

— Что?

— Крепость. Сорок вымпелов, стационарная оборона, гарнизон. Они там что-то едят. Дышат. Чем-то заправляют корабли. Откуда это приходит?

Аркадий смотрел на меня так, как смотрят на говорящую собаку: сначала с изумлением, потом с раздражением, потому что собака говорит не то, что хотелось бы.

— Это... — Он поискал слово. — Это вопрос снабженцев.

— Прекрасно. Второй вопрос. Где ближайшая к Тарнису точка перехода, через которую это снабжение идёт?

— Дмитрий.

— Третий. Сколько времени крепость держится без подвоза? Месяц? Два? Полгода?

— Дмитрий!

Я замолчал.

Аркадий встал. Это заняло у него время — он вставал красиво.

— Ты, кажется, не понял, — сказал он мягко. — Никто не ждёт от тебя стратегии. От тебя ждут... — он подбирал слово, и я с интересом ждал, какое именно он выберет, — ...достойного поведения. Империя воюет с Конкордатом седьмой год. Тарнис — заноза. Штурмовать его пробовали дважды, полным флотом. Не вышло. Соединение «Венец» — это жест. Знак, что Дом Нахимовых не отсиживается.

— То есть это похороны.

Он даже не моргнул.

— Это честь рода, — сказал он.

Вот тут я его зауважал. Не за подлость — подлости я на своём веку насмотрелся, подлость дёшева. За то, что он сказал это, глядя мне в глаза, без запинки, и, кажется, сам себе верил.

— Хорошо, — заметил я. — Тогда последняя просьба, а не вопрос. Мне нужна карта.

— Тебе выдадут навигационный пакет.

— Мне нужна не навигация. Мне нужна карта всего театра. Границы, базы, склады, кто чем владеет, откуда что возят. Большая. Желательно на стене.

Аркадий помолчал.

Потом он сделал то, чего я не ожидал: он рассмеялся. Искренне, с облегчением, будто с него сняли груз.

— Господи, — сказал он. — Ты и правда головой ударился.

Он подошёл ко мне и — я едва удержался, чтобы не перехватить руку, — потрепал меня по плечу.

— Митя. Слушай сюда. Через шесть дней ты выйдешь в Тарнис. Тебе не нужны карты, не нужны склады и не нужны точки перехода. Тебе нужно одно: не опозорить фамилию. Понимаешь? Просто иди вперёд и не сворачивай. Всё остальное сделают за тебя.

— Кто?

— Что «кто»?

— Кто сделает за меня всё остальное?

Он открыл рот. Закрыл.

И я увидел это — короткую вспышку, которую видел сто раз на военных советах у людей, привыкших говорить красиво и не привыкших, чтобы их переспрашивали. Мгновение, когда человек понимает, что за его словами ничего нет, — и злится не на себя, а на того, кто спросил.

— Ступай, — сказал он холодно. — Карту тебе дадут. Портрет предка изучи заодно, тебе полезнее.

И, знаете, карту мне действительно дали.

Через два часа в мою комнату внесли — торжественно, вчетвером — свёрнутый в трубу парадный портрет Нахимова-старшего, того самого, с худым лицом. С запиской от секретариата: «Для вдохновения».

Я развернул его, посмотрел на старика.

— Издеваются, — сказал я ему.

Старик молчал сурово.

— Ладно, — согласился я. — Карту достанем сами. Ты, главное, повиси пока.

Я повесил портрет на стену — и, каюсь, только потом сообразил, что впервые за две жизни завёл себе на стене чужое изображение.

Потом сел за стол, постучал в нужное место и начал разбираться, как в этом мире добывают сведения, если тебе их не дают.

К вечеру я знал три вещи.

Что светящийся лист умеет искать по словам.

Что двадцать третьему сыну Дома Нахимовых открыт доступ к «Общедоступному реестру торговых маршрутов» — потому что закрывать его от двадцать третьего сына никому не пришло в голову.

И что за последние два года через точку перехода Устье — семнадцать световых часов от Тарниса, крохотная дыра, о которой в военных сводках не пишут вообще, — прошло сто девяносто четыре грузовых борта Конкордата.

Я долго смотрел на эту цифру.

Потом сказал портрету:

— Старик. А ведь они её кормят через соломинку.

Глава 3. Смотр

Шесть дней спустя я стоял в шлюзовом отсеке базы Ольгинской и смотрел на то, что империя выделила мне для взятия крепости.

Восемь вымпелов.

Флагман — крейсер «Стремительный». Название дали, надо полагать, в год постройки, и с тех пор оно старело вместе с ним. Броня в заплатах. Два орудийных гнезда заварены наглухо. Правый борт покрашен свежей краской, левый — нет: видимо, красили к смотру и смотрели только справа.

Два эсминца: «Резвый» и «Отважный». «Резвый» имел ход на четверть ниже паспортного, «Отважный» не имел одного двигателя вовсе.

Три транспорта, старых и толстых, как купеческие вдовы.

И два катера, которые я поначалу принял за спасательные шлюпки, а потом выяснилось, что это боевые единицы.

— Красавцы, — сказал я вслух.

— Так точно, — отозвался кто-то сбоку. — Красавцы. Особенно вон тот, у которого дырка.

Я обернулся.

Их было двое. Оба в мундирах, оба с капитанскими нашивками, оба — это чувствовалось на расстоянии трёх шагов — с крепкого похмелья.

Первый был сухой, желчный, с лицом человека, которого жизнь долго и методично убеждала не высовываться, и убедила. Второй — краснолицый крепыш с седой щетиной, который смотрел на меня с откровенным весельем.

— Капитан второго ранга Дуров, Ефим Палыч, — представился сухой. — Командир «Стремительного».

— Капитан-лейтенант Штоф. Карл. Отчество не выговорите.

— Приставлены к вам, — добавил Дуров. — Согласно предписанию. В качестве... — он поискал формулировку, — ...опытных советников.

Я посмотрел на них.

Я знал этот тип. У меня таких было полдюжины в каждой армии: битые, списанные, спившиеся, которых держат при штабе, чтобы не выгонять совсем. Половина из них никуда не годится. Вторая половина стоит трёх свежих полковников, потому что помнит, как оно бывает на самом деле.

Вопрос был только в том, к какой половине относятся эти.

— Господа. — Я дослушал до конца. — Скажите мне честно: вас сюда сослали умирать вместе со мной или просто чтобы не мешались?

Штоф хрюкнул.

Дуров моргнул. Дважды.

— Господин мичман, — сказал он осторожно, — мне докладывали, что вы... нездоровы.

— Мне тоже докладывали. Отвечайте.

— Умирать, — сказал Штоф с удовольствием. — Точно умирать. Меня третий год не могут списать по-хорошему, я, понимаете, знаю, где у интендантства зарыты три борта топлива. А Ефим Палыча — того за Кемь.

— Что за Кемь?

Дуров дёрнул щекой.

— Не важно.

— Он там приказ не выполнил, — жизнерадостно пояснил Штоф. — Велено было идти вперёд, а он развернулся и ушёл. Двести человек вывел.

— И сколько за это дали?

— Восемь лет мимо чинов, — сказал Дуров ровно. — И «опытный советник» при мальчишке. Разрешите идти?

— Нет, — ответил я. — Ефим Палыч, теперь вы мой начальник штаба.

Пауза.

— Что? — отозвался Дуров.

— Человек, который однажды не пошёл вперёд, потому что вперёд было глупо, — сказал я, — единственный в этом списке, кому я могу доверить людей. Карл, вы — снабжение. Начнёте с тех трёх бортов топлива, о которых вы только что при мне сболтнули.

Штоф перестал улыбаться.

— Господин мичман, я пошутил.

— Плохо пошутили. — Я пошёл к трапу. — Идёмте. Хочу посмотреть на личный состав.

Они пошли за мной. Я не оглядывался, но по звуку шагов слышал: сначала растерянных, потом — нормальных, рабочих.

Двое из ста тридцати. Начало есть.

Личный состав ждал в ангаре.

Двести сорок человек штрафной команды. Стояли они так, как стоит стадо, которому велели изобразить строй: вроде и в линию, а вроде и нет. Половина руки в карманах. Кто-то жевал. В третьем ряду шла негромкая, но оживлённая торговля.

Смотрели они на меня с интересом. Так смотрят на новую забаву.

Я прошёл вдоль строя.

Мичман девятнадцати лет, худой, в мундире не по плечу, с фамилией Нахимов на груди. Двадцать третий в очереди. Двести сорок человек, которым сообщили, что их ведут на убой, и которые не собирались изображать по этому поводу ничего, кроме того, что изображали.

Я дошёл до конца строя, развернулся и встал так, чтобы меня видели все.

— Меня зовут Дмитрий Александрович Нахимов, — произнёс я.

Кто-то в задних рядах отчётливо произнёс: «Ну надо же».

Я не стал искать говорившего. Искать говорившего — значит признать, что тебя задело.

— Задачу вам уже сообщили, — продолжил я. — Восемь вымпелов, крепость Тарнис, сорок вымпелов гарнизона. Всем в этом ангаре ясно, что нас посылают умирать. Мне тоже ясно. Давайте не будем делать вид, что нет.

Стало заметно тише.

— Поэтому я не буду говорить про честь империи. Я вообще не буду говорить красиво — у меня в роду это делают лучше меня, и вон куда доигрались.

Смешок. Один, короткий, из второго ряда. Уже что-то.

— Скажу простое. Мне девятнадцать лет, и я в жизни не командовал кораблём. — Я выждал. Пусть переварят, я не собирался делать вид. — Я не знаю, как работают ваши двигатели. Не знаю, что такое ваша «прыжковая воронка». Я половину слов в приказе прочитал впервые.

Теперь смотрели все. Даже торговля в третьем ряду прекратилась.

— Но я знаю, как берут крепости. — Он кивнул. — Крепости берут не там, где стены. Крепости берут там, где еда.

Тишина.

— Через шесть суток мы уйдём в Тарнис. Никто из вас не обязан мне верить. Верить вообще никому не надо — надо смотреть на дела. Так что просто посмотрите. Через месяц скажете, что видели.

Я повернулся к Дурову.

— Ефим Палыч. Пофамильный список, с отметкой, кто за что попал в штрафную. Мне нужно к вечеру.

— Есть, — сказал Дуров. И, кажется, сам удивился, как ровно это прозвучало.

Из строя вышел человек.

Он был на голову выше всех и раза в полтора шире. Лицо в шрамах, нашивок нет, взгляд спокойный, тяжёлый.

— Разрешите вопрос, ваше благородие.

— Разрешаю.

— Вы сказали, крепости берут там, где еда. — Он говорил медленно, будто выкладывал камни. — А если еды нет? Если она в крепости уже лежит на год вперёд?

Хороший вопрос. Отличный вопрос. Такие вопросы в моей армии задавали сержанты, из которых потом выходили полковники.

— Тогда её берут там, где вода. Или там, где сон. Или там, где терпение. Крепость — это люди, а у людей всегда что-нибудь кончается раньше стен. Как ваша фамилия?

— Бурый. Захар.

— За что в штрафной?

— Ударил офицера.

По строю прошло движение. Кто-то ждал скандала. Кто-то — представления.

— За дело? — спросил я.

Бурый посмотрел на меня внимательно.

— За дело.

— Расскажете вечером. — Я кивнул. — С этой минуты вы старший над всей десантной командой. Приказы принимаете от меня и от капитана Дурова, больше ни от кого.

Строй загудел.

Бурый не двинулся.

— Ваше благородие. Я в штрафной. Мне командовать не по чину.

— У меня тут восемь ржавых корыт против сорока. — Я посмотрел на карту. — Мы с вами оба вне чина. Становитесь в строй, Захар.

Вечером Дуров принёс список.

Я читал его четыре часа, при этом трижды переспросив, что означают сокращения, и один раз выяснив, что «ЗДВ» — это не звание, а «злоупотребление доверием ведомства», то есть попросту воровство.

Двести сорок фамилий. Против каждой — статья.

Пьянство. Драка. Драка. Самовольная отлучка. Воровство. Воровство. Дерзость старшему по званию. Дерзость. Драка. Отказ выполнить приказ. Отказ выполнить приказ.

Я откинулся на спинку кресла.

— Ефим Палыч.

— Слушаю.

— Вы понимаете, что нам дали?

Дуров пожал плечами.

— Отбросы, ваше благородие.

— Нет. — Я развернул к нему лист. — Смотрите. Сорок человек — драки. Тридцать два — дерзость старшему. Девятнадцать — отказ выполнить приказ.

— И что?

— А то, что нам собрали в одном месте всех, кто в этом флоте способен спорить. — Я улыбнулся, и, судя по лицу Дурова, улыбка у мальчишеского лица получилась нехорошая. — Тех, кто дерётся, когда обидно. Кто спорит, когда велят глупость. Кто разворачивается, когда впереди — стена.

Дуров медленно сел.

— В моём... — я вовремя прикусил язык. — В старых войнах, Ефим Палыч, полк набирали из послушных. Послушные хорошо стоят в строю и хорошо умирают на месте. А брали города — вот такие. Потому что такие, когда всё пошло не так, не ждут приказа.

— Вы это серьёзно, — сказал Дуров. Не вопрос.

— Абсолютно.

Он смотрел на меня долго. Потом произнёс:

— Господин мичман. Позвольте нескромный вопрос. Где вы этого набрались?

Я подумал.

— Читал, — добавил я. — Много.

— Что читали?

— Про Синоп, — сказал я и посмотрел на стену, где висел портрет.

Старик молчал сурово. Кажется, он был не против.

Глава 4. Штаб

Штаб я собирал так же, как всегда: не по чинам, а по тому, кто на что годен.

Первым в кают-компанию «Стремительного» пришёл Дуров. Вторым — Штоф, с видом человека, идущего к зубодёру. Третьим — Бурый, который сел не сразу, а сначала осмотрел помещение, будто прикидывал, откуда сюда полезут.

Четвёртой явилась штурман.

— Ремизова, Елизавета Андреевна, — сказала она с порога. — Господин мичман, у меня к вам протест.

— Садитесь. — Я поставил чашку. — Протест потом.

— Протест сейчас. — Она положила передо мной планшет. — Вы затребовали расчёт перехода к точке Устье. Это не наша зона операции. Это семнадцать световых часов в сторону от цели. Я обязана указать, что...

— Елизавета Андреевна.

— ...что данный курс не соответствует боевому приказу и я как штурман буду вынуждена внести это в журнал...

— Елизавета Андреевна.

Она замолчала.

Ей было лет двадцать пять. Тонкая, злая, с идеально уложенными волосами и совершенно несчастными глазами человека, который семь лет учился делать своё дело хорошо и попал служить на корабль, где красят один борт.

— Вносите в журнал. — Я повернулся к нему. — Обязательно. И заодно объясните мне, как летают ваши корабли.

Пауза.

— Что?

— Я не знаю, как они летают, — сказал я терпеливо. — Совсем. Мне нужно, чтобы вы объяснили. Как маленькому. Прямо сейчас.

В кают-компании стало очень тихо.

Штоф беззвучно затрясся. Дуров прикрыл глаза ладонью. Бурый смотрел на меня с интересом.

Ремизова открыла рот.

— Вы, — сказала она, — командующий соединением.

— Именно поэтому. — Я подтянул к себе лист. — Плохой командующий делает вид, что всё знает, и разбивает флот. Хороший спрашивает и не разбивает. Начинайте.

Она объясняла два часа.

Первые двадцать минут — сквозь зубы. Следующие двадцать — с яростью человека, которому наконец дали высказать всё, что накипело. Последний час — с азартом, забыв, кому объясняет.

Я слушал, задавал вопросы и переводил.

Я не понимал ни слова из её терминов, зато отлично понимал то, что за ними стояло.

«Точки перехода» оказались бродами. Их мало, они в определённых местах, обойти нельзя, и кто держит брод — тот держит дорогу. Это я знал. Под Мьером я на этом построил всю кампанию.

«Прыжковая воронка» оказалась разгоном перед бродом: корабль не может войти в него с места, ему нужно долго идти по прямой. То есть — колонна на марше. Длинная, беззащитная, предсказуемая колонна, которая не может ни свернуть, ни остановиться. Господи, да это же обоз в теснине.

«Радиус действия» оказался длиной подвоза. Корабль летит не туда, куда хочет, а туда, откуда сможет вернуться, — или туда, где его встретят с топливом. Ровно как конница: рейд ограничен не силой лошадей, а овсом.

— Стоп, — сказал я на исходе второго часа. — Елизавета Андреевна. Правильно ли я понял: сорок вымпелов гарнизона Тарниса не могут выйти из системы дальше чем на пять суток хода, иначе им не хватит топлива на возврат?

Ремизова наморщила лоб.

— Ну... в общем, да. Если считать по нормам Конкордата. Но зачем им выходить? Они обороняют крепость.

— Затем, что их заставят, — произнёс я. — Ефим Палыч, где Пухов?

— Кто? — заметил Дуров.

— Архивариус, Семён. Я вчера велел его найти.

— А, толстый. — Штоф махнул рукой. — Он в трюме сидит, у него там ящики. Он у нас по описям.

— Позовите.

Пухова привели через десять минут. Он был круглый, потный, испуганный, в мятой форме и с планшетом, который прижимал к груди, как щит.

— Семён. Мне говорили, вы помните всё, что читали.

— Н-не всё, — произнёс Пухов. — Только то, что в реестрах.

— Отлично. Реестры перевозок Конкордата за два года. Точка Устье. Сколько бортов, какого тоннажа, с какой периодичностью?

Пухов моргнул.

И начал говорить.

Он говорил одиннадцать минут без остановки, без единой бумажки, ровным тоскливым голосом, каким читают опись имущества. Числа, даты, тоннажи, названия. На седьмой минуте Дуров начал записывать. На девятой Ремизова сказала «господи боже».

Когда он кончил, я некоторое время молчал.

— Семён, — проговорил я. — Вас за что в штрафную?

— Я... — Пухов сглотнул. — Я доложил, что в реестрах базы недостача. Три раза доложил.

— А недостача была?

— Была, — сказал Пухов уныло. — Двенадцать процентов.

Штоф закашлялся.

— Вы теперь мой второй начальник штаба. Ефим Палыч отвечает за людей и корабли. Вы — за противника. Ваша единственная задача: знать про Конкордат всё, что записано хоть где-нибудь.

— Ваше благородие, — прошептал Пухов. — Я мичман по интендантской части.

— Уже нет.

Последней в штаб вошла Зойка Лаптева.

Она вошла без стука, поставила на стол ящик, села, закинула ногу на ногу и сказала:

— Ну?

Ей было лет двадцать восемь. Волосы стянуты в узел, руки в мазуте, взгляд оценивающий — и оценивала она, судя по всему, не меня, а мебель в кают-компании.

— Вы Лаптева? — спросил я.

— Я Лаптева. Мне сказали, вам надо топливо.

— Мне надо топливо, продовольствие на шесть месяцев, запасные двигатели для «Отважного» и двадцать четыре тонны обычной строительной пены. Штоф сказал, что вы можете достать что угодно.

Зойка перевела взгляд на Штофа. Штоф изучал потолок.

— Пену?

— Пену.

— Зачем вам пена?

— Затем, — сказал я, — что на радарах она даст такое же пятно, как корабль. Если правильно надуть.

В кают-компании опять стало тихо. По-другому тихо, чем раньше.

— Ложные цели, — медленно произнесла Ремизова. — Вы хотите сделать ложные цели из монтажной пены.

— А из чего их обычно делают?

— Из специальных излучателей! Которых у нас нет и не будет, потому что они идут только на корабли первой линии!

— Значит, из пены, — заметил я. — Зоя, сколько времени?

Зойка думала недолго.

— Топливо — трое суток, если Штоф покажет свои три борта. Продовольствие — двое, но не спрашивайте откуда. Двигатели... — она поморщилась. — Двигателей нет.

— На «Резвом» есть, — вдруг сказал Бурый.

Все обернулись.

— На «Резвом» есть запасной комплект, — повторил он спокойно. — Списан по документам два года как. Лежит в третьем трюме, накрыт брезентом. Я его видел, когда грузили.

Дуров медленно повернул голову к Штофу.

Штоф изучал потолок ещё внимательнее.

— Карл, — сказал я.

— Ваше благородие, — сказал Штоф с достоинством. — Я про них забыл.

— Вы про них забыли на два года.

— У меня плохая память.

— У вас прекрасная память, у вас плохая совесть. — Я встал. — Господа. Слушайте задачу.

Я подошёл к стене. Стучать в неё было бесполезно — это я уже выяснил, — поэтому Ремизова, страдальчески вздохнув, вывела в воздух карту сектора.

Я посмотрел на неё.

И впервые с момента пробуждения почувствовал себя дома.

Другие названия. Другие расстояния. Другие законы, по которым ходят корабли. Но это была карта, а карта — это всегда одно и то же: дороги, узлы, склады и люди, которым надо есть.

— Вот Тарнис, — сказал я, ткнув пальцем. — Сорок вымпелов, стационарная оборона, минные поля. В лоб — не берётся ничем, что у нас есть, и, судя по двум прошлым попыткам, ничем, что есть у империи.

— Так точно, — сказал Дуров.

— А вот, — я передвинул палец, — точка Устье. Семнадцать световых часов. Ни гарнизона, ни укреплений, ни минных полей. Пункт перевалки. Семён, повторите главное число.

— Сто девяносто четыре борта за два года, — послушно сказал Пухов. — Восемьдесят один процент всего грузопотока в систему Тарнис.

— Восемьдесят один процент, — повторил я. — Господа, крепость Тарнис ест через соломинку. Соломинка не охраняется, потому что за триста лет никто не пробовал воевать с соломинкой — все воевали с крепостью.

— Потому что это не по уставу.

— Вот именно. — Он положил ладонь на стол. — Слава богу.

Штоф хмыкнул. Бурый чуть заметно улыбнулся.

— Задача. Мы не идём к Тарнису. Мы идём к Устью. Мы садимся на соломинку и сидим на ней столько, сколько потребуется. И крепость, у которой кончится терпение, выйдет к нам сама.

— Сорок вымпелов.

— Не сорок. — Я улыбнулся. — Столько, сколько они смогут отправить, не оголив крепость. И идти они будут по прямой, в разгоне, колонной, потому что иначе в брод не войдёшь. — Я обвёл всех взглядом. — Ефим Палыч, вы понимаете, что это значит?

Дуров смотрел на карту.

И тут я увидел, как оно происходит. Как у человека, восемь лет ходившего мимо чинов, что-то щёлкает в голове, и он поднимает глаза, и глаза у него уже не как у списанного советника.

— Это значит, — сказал он хрипло, — что они пойдут по одному.

— Это значит, — сказал я, — что они пойдут по одному.

Из служебной записки капитан-лейтенанта Штофа (перехвачена и подшита к делу три месяца спустя):

«Ефим, ты был прав, мальчишка ненормальный. Он сегодня два часа выспрашивал у Ремизовой, как летают корабли. Как летают корабли, Ефим! Командующий соединением! А потом сказал такое, от чего я вторые сутки не сплю.

Знаешь, что самое паршивое? Оно работает. Я проверил его цифры. Оно работает.

Он не спятил, Ефим. Он просто не знает, что так нельзя.

Кажется, я перестал пить. Само как-то.»

Глава 5. Пена

За четверо суток до выхода я узнал, что такое имперское интендантство.

Оно оказалось прекрасно. Оно оказалось точь-в-точь как интендантство Северной армии, из-за которого я в своё время повесил двоих и повысил одного, и я едва не прослезился от узнавания.

Начальник склада, надворный советник Купин, принял нас в кабинете, где было тепло, чисто и пахло хорошим чаем.

— Соединение «Венец», — сказал он, глядя в бумаги. — Так. Топливо — по норме отдельного соединения, одна заправка.

— Мне нужно четыре.

Купин поднял глаза.

— По норме — одна.

— Норма рассчитана на переход к цели и бой у цели. Я планирую маневрировать.

— Маневрировать, — повторил Купин. Он произнёс это так, как произносят «жульничать». — Господин мичман, вы идёте на Тарнис. Тут маневрировать негде. Тут вперёд идти надо.

— Мне нужно четыре заправки.

— По норме одна.

Мы посмотрели друг на друга.

Я знал этот взгляд. Этому взгляду тысяча лет, он старше пороха, он старше колеса. Так смотрит человек, у которого есть склад, на человека, у которого склада нет.

Я мог бы надавить именем. Толку было бы ноль: имя у меня как раз такое, что фамилию все знают, а меня — никто.

Поэтому я сделал по-другому.

— Хорошо, — произнёс я. — Одна заправка. Распишитесь.

— Разумеется, распишусь.

— И вот тут ещё, пожалуйста. — Я положил перед ним второй лист. — Расчёт остатка топлива на момент выхода к цели. Ноль целых, восемь десятых процента. Это меньше аварийного минимума в шесть раз.

— И что?

— Так это же прекрасно, — сказал я искренне. — Просто по инструкции соединение, вышедшее к цели без аварийного запаса, считается небоеспособным. А приказ подписан адмиралтейством. То есть либо адмиралтейство отправляет заведомо небоеспособное соединение — и это вопрос к адмиралтейству, а не ко мне, — либо норму выдачи определил склад. То есть вы.

Купин очень медленно отставил чашку.

— Я всего лишь хочу понимать, чью подпись класть в объяснительную. Мою, адмиральскую или вашу. Погибну-то я в любом случае, мне уже без разницы. А вот бумага останется.

Тишина длилась секунд восемь.

— Три заправки, — повторил Купин.

— Четыре.

— Три с половиной, и вы забираете старую партию, которая у меня по документам уже списана.

— Договорились. — Я опустил руку на схему. — И двадцать четыре тонны строительной пены.

Купин моргнул.

— Пены?

— Пены.

— Зачем вам пена?

— Ремонтные работы, — сказал я честно. Это была чистая правда: я собирался отремонтировать соотношение сил.

Пену грузили ночью.

Я стоял в трюме «Стремительного» и смотрел, как Зойка Лаптева распекает грузчиков голосом, которым можно было бы брать крепости без всякой тактики.

Рядом появился Бурый.

— Ваше благородие. Разрешите сказать.

— Говорите.

— Люди спрашивают. — Он помолчал. — Не про пену. Про другое.

— Про что?

— Правда ли, что мы не идём на Тарнис.

Я обернулся к нему.

Вот он, момент. Он всегда наступает — за сутки, за двое до выхода, когда слухи уже разошлись, а приказа ещё нет. В этот момент армия либо становится армией, либо остаётся толпой, и решает всё то, что командующий скажет в следующие тридцать секунд.

— А что бы вы им ответили, Захар? — спросил я.

— Я бы ответил, что не моё дело.

— А что бы вы хотели услышать?

Бурый подумал. Он вообще всё делал медленно и ни разу — глупо.

— Правду, — проговорил он. — Врать нам уже пробовали. Нам говорили, что штрафная — это шанс исправиться. А потом посадили на восемь корыт и отправили на сорок вымпелов. Второй раз врать не надо, ваше благородие. Второй раз просто не поверят и всё.

Я кивнул.

— Общий сбор, — закончил я. — Через час. Все, кто не на вахте.

Их было двести с лишним человек в том же ангаре.

Стояли по-другому. Не по уставу — до устава им было как до Синопа, — но иначе. Смотрели.

— Слух верный, — сказал я без предисловий. — На Тарнис мы не идём.

Гул.

Я поднял руку, и — вот это было интересно — гул стих. Быстрее, чем неделю назад. Гораздо быстрее.

— Приказ гласит: войти в систему Тарнис и штурмовать крепость. — Я обвёл их взглядом. — Мы войдём в систему Тарнис. И мы будем штурмовать крепость. Но не сегодня и не там, где нас ждут.

Я велел Ремизовой вывести карту. Она вывела — во всю стену ангара, огромную, светящуюся, и двести человек задрали головы.

— Вот крепость. — Я показал. — Сорок вымпелов. Стены. Мины. Кто пойдёт туда в лоб — умрёт, и умрёт зря, и через полгода про него скажут красивую речь. Я такие речи слышал. Они все одинаковые.

Тишина стояла плотная.

— А вот Устье. — Я передвинул руку. — Через него в крепость идёт восемьдесят один процент всего, что они едят, пьют и жгут. Охраны там нет, потому что охранять склад — это скучно, а воевать положено красиво.

Кто-то в задних рядах громко сказал: «Ух ты ж».

— Мы сядем на Устье. Мы будем сидеть там и не пускать. Ничего героического. Никаких таранов. Мы будем самым скучным соединением в этой войне.

Пауза.

— И через месяц, полтора или два крепость Тарнис вышлет к нам корабли. Не сорок — они не могут отправить сорок, иначе останутся голыми. Пришлют десять, двенадцать. И пойдут они к нам через брод, а брод, как мне объяснила Елизавета Андреевна, проходят по одному, в разгоне, по прямой линии, не сворачивая.

Я обвёл их взглядом.

— Двести сорок человек. Восемь ржавых корыт. И противник, который вынужден выходить на нас по одному, в том месте и в то время, которое выберем мы.

Молчание.

Потом Штоф — нарочно громко, на весь ангар — произнёс:

— Ну, ваше благородие. Это уже даже не подло. Это красиво.

И ангар засмеялся.

Смеялись двести с лишним человек, которых списали, посадили на рухлядь и отправили умирать, и смех был нехороший, злой и очень живой — я слышал такой смех перед хорошими делами раз двадцать за две жизни.

— Ещё одно, — сказал я, когда стихло. — Нас восемь. Их будет больше. Поэтому мы возьмём с собой двадцать четыре тонны монтажной пены.

— Чего? — сказали из строя.

— Пены. — Я кивнул Зойке. — Пена, надутая в вакууме и обмотанная фольгой, на дальнем радаре выглядит как корабль. У нас будет двадцать четыре ложных вымпела. Противник, идущий через брод, увидит перед собой не восемь целей, а тридцать две.

Бурый первым понял до конца. Я видел по лицу.

— Они развернутся.

— Они попробуют развернуться, — согласился я. — В разгоне. Внутри воронки. Не имея права свернуть.

Штаб Западного крыла Конкордата, семнадцать суток спустя.

Коммодор Дельгар Ойс тридцать один год носил мундир и за это время научился главному: тревожиться следует не тогда, когда противник делает страшное, а тогда, когда противник делает непонятное.

— Повторите.

— Имперское соединение «Венец», — доложил аналитик. — Восемь вымпелов. Вышло из Ольгинской девять суток назад курсом на Тарнис. Четверо суток назад изменило курс.

— Куда?

— На точку Устье, коммодор.

Ойс посмотрел на схему. Потом на аналитика. Потом снова на схему.

— Что у нас в Устье?

— Перевалочный узел. Три склада, диспетчерская станция, восемь грузовых бортов на стоянке. Без боевого прикрытия.

— Состав соединения?

— Списанный крейсер, два эсминца — один без хода на полном, три транспорта, два катера. Командующий — мичман Нахимов, девятнадцать лет, из аристократического дома. Согласно нашим данным, назначение носит церемониальный характер.

Ойс молчал долго.

Тридцать один год мундира говорил ему, что это ошибка навигации, паника или дезертирство. Восемь корыт, мальчишка-аристократ, снятый с бала и посаженный в командирское кресло, — тут не бывает замысла, тут бывает только глупость.

Но было ещё одно правило, которому Ойс верил больше, чем всем уставам: если противник идёт не туда, куда должен, спроси себя — а что у тебя лежит там, куда он идёт?

Он посмотрел на схему снабжения.

И медленно, очень медленно поставил чашку на стол.

— Соедините меня с Тарнисом, — подтвердил он.

Глава 6. Устье

Переход занял девять суток.

Девять суток — это, как выяснилось, очень много, если ты командующий, который не умеет ничего из того, что умеют твои подчинённые.

На третьи сутки я понял, что придётся выбирать. Либо я честно сажусь учиться и признаю, что ничего не понимаю, — и тогда двести сорок человек девять суток смотрят, как их командир учит азбуку. Либо я делаю умное лицо и молчу — и тогда через месяц кто-нибудь задаст мне вопрос, на который я не отвечу, и вот тогда всё рассыплется по-настоящему.

Я выбрал первое. Не из скромности. Из расчёта: солдат прощает командиру незнание, но не прощает вранья. Незнание видно сразу, враньё вылезает в самый неудачный момент.

Поэтому каждое утро я приходил в рубку и садился к Ремизовой.

— Сегодня — манёвр, — говорила она, и в голосе у неё было уже гораздо меньше яда, чем в первый день. — Господин мичман, вы вчера сказали, что хотите «зайти во фланг». Так вот. Фланга нет.

— Как это нет?

— Так. Космос трёхмерен, господин мичман. У корабля нет левого борта в том смысле, в каком он есть у... — она поискала слово, — ...у телеги. Он может вращаться как угодно. Он смотрит во все стороны сразу.

Я подумал.

— А орудия?

— Что орудия?

— У него орудия во все стороны сразу?

Пауза.

— Нет, — сказала Ремизова. — Основной залп — вперёд и в конус, градусов сорок. Сзади только две башни оборонительного огня.

— То есть фланг есть, — проговорил я. — Просто он не слева, а сзади и снизу.

Ремизова открыла рот. Закрыла.

— Это не называется фланг, — сказала она наконец.

— Елизавета Андреевна, мне всё равно, как это называется. Мне важно, что туда можно зайти.

К шестым суткам я знал, чего стоят мои корабли.

«Стремительный» — стар, но крепок; его броня старого образца, толстая и тупая, и по нынешним меркам это считается недостатком, потому что современные корабли берут скоростью. Я записал в другую графу: у меня есть один вымпел, который может стоять под огнём дольше, чем положено.

«Резвый» — четверть хода потеряна из-за неотрегулированных дюз. Дуров, услышав это от механика, побагровел и лично полез в машинное. Вернулся через сутки чёрный, злой и счастливый. Ход подняли на восемнадцать процентов.

«Отважный» — двигатель поставили тот самый, который два года лежал у Штофа под брезентом. Штоф во время монтажа стоял рядом с видом человека, у которого отбирают ребёнка.

Три транспорта. Медленные, вместительные, беззащитные. По всем уставам — обуза.

Я смотрел на них и видел обоз. А обоз, если знать, что с ним делать, — это не обуза, это то, ради чего вообще ведут войну.

Два катера. Мелкие, шустрые, с плохой бронёй и хорошими двигателями. Разъезды. Лёгкая конница. Прекрасная вещь, если не пытаться ими воевать.

— Ефим Палыч, — сказал я на седьмые сутки. — Сколько у нас людей, умеющих водить катер?

— Штатно — четверо, — сказал Дуров.

— А нештатно?

Дуров помолчал.

— Ещё человек двадцать, — признал он. — Из тех, кого сюда за угон и посадили.

— Отлично. Учебные выходы, по два в сутки. Всех двадцать.

— Топливо, — напомнил Дуров.

— Ефим Палыч. — Я посмотрел на него. — Я выторговал у Купина три с половиной заправки именно для того, чтобы жечь топливо до боя, а не в бою. Люди, которые не тренировались, — это не люди, это списочный состав.

Вечерами я ввёл поверку.

Не уставную — уставную они бы возненавидели. Я ввёл другую: после ужина, в ангаре, четверть часа. Кто хочет — приходит.

Первый вечер пришло восемнадцать человек, в основном из любопытства.

Я говорил про Мьер. Разумеется, не называя Мьер: я говорил «был один случай в старой войне». Как две тысячи человек три недели держали переправу против пятнадцати тысяч, потому что переправа была одна, и как командующий пятнадцатитысячного корпуса в конце концов ушёл, потеряв четыре тысячи, и это было единственно разумное решение, и он был прекрасный офицер.

— И кто победил? — спросили из темноты.

— Те, кто держал переправу, — заметил я. — Их было в семь раз меньше, они были хуже вооружены, и половина из них потом умерла от лихорадки. Но пятнадцать тысяч ушли, а переправа осталась.

Помолчали.

— Так себе победа, — сказал кто-то.

— Так себе, — согласился я. — Победы вообще выглядят паршиво изнутри. Красиво они выглядят только в галерее с портретами.

На второй вечер пришло сорок человек. На четвёртый — сто двадцать, и Дуров начал ворчать про вахтенное расписание.

Я рассказывал им про осады, обозы, засады у бродов, про то, как под Тервейном я три дня жёг костры на пустом холме, чтобы противник считал, что там стоит корпус. Про то, что дезертирство — это не трусость, а отсутствие смысла, и что за смысл отвечает командир, а не солдат.

Я говорил «в старых войнах». Они думали, что я вычитал это в книгах.

В каком-то смысле так и было. Книги про это писали. Правда, писал их я.

На восьмые сутки ко мне пришёл Бурый.

Он вошёл в каюту, встал у двери и молчал, пока я не поднял голову.

— Ваше благородие. Вы просили рассказать. Про офицера.

Я отложил лист.

— Садитесь, Захар.

Он сел. Стул под ним скрипнул.

— Ольгинская, два года назад, — заметил он. — Разгружали борт с ранеными. С Кеми везли, после второго штурма Тарниса.

Я молчал. Молчать — половина всякой беседы.

— Их было триста двенадцать человек. — Бурый смотрел в стену. — Мест в госпитале — сто. Остальных велено было держать в транспортном ангаре до утра. Ангар не грели. Экономия.

Он потёр ладонью колено.

— Я пошёл к дежурному по базе. Говорю: там люди на металле лежат, дайте хоть маты с тренажёрного. Он говорит: не по инструкции, имущество спортивное, списывать под кровь не буду. Я говорю: они замёрзнут. Он говорит: не замёрзнут, они уже наполовину не жильцы.

Пауза.

— И вы его ударили, — кивнул я.

— Не сразу, — продолжил Бурый. — Сразу — не ударил. Я сходил, принёс маты. Он велел вернуть. Я вернул. Он велел мне их лично вернуть, при людях, чтобы, значит, дисциплину показать.

Он поднял на меня глаза.

— Вот тогда ударил.

— Сколько умерло? — спросил я.

Бурый не удивился вопросу. Ему, я думаю, все два года никто этого вопроса не задавал.

— Двадцать девять.

Я встал, дошёл до переборки, вернулся.

У меня в жизни бывали ситуации хуже. У меня был обоз под Ирмой, где я сам приказал бросить раненых, потому что иначе не уходила армия, и это было правильное решение, и я до сих пор помню, как это выглядело.

Разница между мной и тем дежурным по базе была не в милосердии. Разница была в том, что я знал, зачем.

— Захар, — добавил я. — В моём... в старых войнах у нас было правило. Ответственный за обоз отвечает за раненых головой. Не служебно. Буквально. Если раненые умерли от холода, а не от ран, обозного вешают.

Бурый посмотрел на меня.

— Строго.

— Дёшево, — произнёс я. — Один обозный стоит дешевле, чем армия, которая знает, что её бросят. Солдат идёт вперёд не потому, что храбрый. Солдат идёт вперёд, потому что верит, что его вытащат.

Мы помолчали.

— Вы поэтому меня старшим поставили? — спросил Бурый.

— Я поставил вас старшим, потому что вы единственный, кто задал правильный вопрос на первом смотре, — проговорил я. — А теперь я знаю, что не ошибся.

Он встал.

— Ваше благородие. Разрешите спросить.

— Разрешаю.

— Вы нас вытащите?

Я мог соврать. Соврать было бы легко и приятно.

— Не всех, — начал я. — Не буду обещать того, чего не могу. Но я не потрачу ни одного человека ради красоты. Ни одного, Захар. Если я кого-то положу, это будет потому, что иначе никак.

Бурый кивнул.

— Этого хватит, — сказал он и вышел.

Устье мы увидели на девятые сутки.

Точнее, увидел его Пухов — на схеме, вычитав в реестрах, — а потом уже подтвердили приборы.

Я собрал штаб.

— Диспозиция, — продолжил я. — Семён, что там?

Пухов встал, прижимая планшет.

— Перевалочный узел «Устье», — начал он унылым голосом описи. — Диспетчерская станция типа «сорок-семь-бис». Три складских модуля. Обслуживающий персонал — от

восемнадцати до двадцати четырёх человек, гражданские подрядчики Конкордата. Боевого прикрытия нет. Стационарного вооружения нет. — Он перевернул лист. — На стоянке в среднем от четырёх до девяти грузовых бортов.

— Охрана?

— Согласно расписанию — дежурная смена, шесть человек. С лёгким стрелковым.

Штоф присвистнул.

— Ваше благородие, да мы их шапками закидаем.

— Вот именно этого мы делать не будем, — сказал я.

Все посмотрели на меня.

— Объясняю. — Я показал на схему. — Что произойдёт, если мы войдём и раздавим станцию?

— Она перестанет работать, — сказал Дуров.

— И?

— И... — Дуров нахмурился. — И Тарнис через сутки узнает, что снабжение встало.

— Через сколько именно, Семён?

— Плановый сеанс связи Устье — Тарнис: каждые восемнадцать часов, — отчеканил Пухов. — Плюс аварийный маяк. При потере связи или срабатывании маяка Тарнис высылает проверку.

— Проверку, — повторил я. — Не эскадру. Проверку. Один-два корабля, которые придут, увидят имперский флаг над развалинами и уйдут докладывать. А дальше Тарнис сделает единственно разумное: перекинет снабжение на обходные маршруты. Долгие, дорогие, но живые. И будет сидеть в крепости ещё год.

Тишина.

— То есть мы победим, — медленно сказала Ремизова, — и ничего не добьёмся.

— Мы захватим станцию, — заметил я. — А надо захватить поток.

Я обвёл их взглядом.

— Господа. Мы не берём Устье. Мы становимся Устьем.

Идея была не моя. Идее было лет шестьсот, и придумал её не я, а какой-то безымянный командир пограничной стражи, который однажды взял таможенный пост на горной дороге и три месяца собирал с купцов пошлину, честно выдавая квитанции, потому что купцам было всё равно, кому платить, а его отряду нужно было жалованье.

Я прочитал про него в юности и тридцать лет ждал случая повторить.

— Первое, — добавил я. — Станцию берём тихо. Ни одного выстрела в эфир, ни одного маяка. Захар, сколько вам нужно людей?

— Смотря как заходить.

— Заходить будем через парадную дверь. — Я кивнул Пухову. — Семён, у нас есть коды опознавания грузовых бортов Конкордата?

— Есть, — ответил Пухов. — Позапрошлогодние. Из трофейного реестра, который я... который лежал в описи.

— Меняются часто?

— Раз в квартал.

— Значит, не годятся, — пояснил Дуров.

— Годятся. Зоя, скажите: у нас на транспортах есть краска?

Зойка Лаптева, сидевшая с ногами на кресле, подняла бровь.

— Есть. И что?

— Перекрасить один транспорт в цвета грузового борта Конкордата. Плюс маркировка. Плюс тот самый позапрошлогодний код — пусть он просроченный.

— Просроченный код вызовет тревогу, — возразила Ремизова.

— Просроченный код вызовет не тревогу. — Он потёр висок. — Просроченный код вызовет раздражение.

Я встал.

— Елизавета Андреевна, представьте. Вы диспетчер на складе у чёрта на рогах. Смена восьмой час. К вам ползёт грузовик, у которого код двухлетней давности и который на все запросы мычит про сбой передатчика. Что вы подумаете первым делом?

Ремизова подумала.

— Что у них опять техника сыпется, — сказала она неохотно. — И что мне это разгребать.

— Именно. Вы подумаете «опять эти идиоты», а не «вражеский десант». Потому что вражеских десантов у вас не было ни разу за семь лет войны, а идиотов — каждую неделю.

Штоф захохотал.

— Ваше благородие, — сказал он, вытирая глаза, — вот это по-нашему. Это же чистое интендантство.

— Это чистая война, Карл. Просто её давно так не ведут.

Транспорт «Мария» красили тридцать часов.

Работали в вакууме, посменно, матерились так, что Марфа Игнатьевна — которая, разумеется, отправилась с нами, потому что «Митенька без меня не поест» — трижды приходила в ангар с половником и обещала кому-то что-то оторвать.

Получилось скверно. Вблизи «Мария» выглядела как борт Конкордата, покрашенный пьяными людьми в темноте, каковым и являлась.

— Ужасно, — сказала Ремизова.

— Прекрасно, — произнёс я. — Ровно так и должен выглядеть корабль, у которого не работает передатчик.

Заходили мы восемь часов спустя.

«Мария» ползла к станции малым ходом, распустив за собой облако технической пыли из аварийного клапана — идею подала Зойка, и я до сих пор считаю, что это был лучший штрих во всей операции. Остальные семь вымпелов остались за газовым гигантом, в четырёх часах хода, и молчали.

В рубке «Марии» сидел Штоф. Именно он, потому что говорить с диспетчером должен был человек с абсолютно правдивой интонацией усталого сволочного грузовика, и лучшего кандидата в соединении не было.

Я стоял рядом и слушал.

— «Устье», «Устье», борт четыре-девять-один, — тянул Штоф на языке Конкордата с чудовищным акцентом. — Приём.

Пауза.

— Борт четыре-девять-один, «Устье», — раздалось в динамике. Голос был женский, скучный до зевоты. — Код не проходит. Повторите.

— Повторяю: четыре-девять-один. Передатчик барахлит, третий рейс жалуюсь.

Пауза длиннее.

— Борт, у вас код позапрошлого квартала.

— У меня, дорогая, и корабль позапрошлого века, — сказал Штоф с чувством. — Ты мне швартовку дай, а с кодами пусть в конторе разбираются.

Я слушал и думал, что в моём мире у меня был точно такой же капрал. Его звали Мод, он мог провести телегу с оружием через любую заставу, и в конце концов его повесили в Ирме за то, что он трижды провёл её мимо моих собственных постов.

— Борт четыре-девять-один, — сказал динамик после долгого молчания. — Швартовка во втором доке. И жалобу вашу я запишу, чтоб вы знали.

— Запиши, милая, — пояснил Штоф. — Обязательно запиши.

Он отключил связь, повернулся ко мне, и лицо у него было мокрое.

— Ваше благородие. Я двадцать два года служу. Мне сейчас было страшнее, чем при Кеми.

— Захар, — сказал я в интерком. — Пошли.

Всё кончилось за одиннадцать минут.

Я не пошёл с десантом, хотя, каюсь, хотелось. Командующий, который лезет в первую волну, — это не храбрец, а человек, который считает себя незаменимым бойцом и заменимым командующим. Мой предшественник в Северной армии так и погиб, и я потом три недели вытаскивал корпус из того, во что он его завёл.

Поэтому я стоял в рубке и слушал доклады.

Дежурная смена — шестеро — сидела в караулке и играла в карты. Их взяли, не разбудив никого в жилом блоке. Диспетчерскую взяли отдельно, двумя людьми, и там, судя по всему, произошло единственное сопротивление за всю операцию: диспетчер, женщина сорока с чем-то лет, попыталась дотянуться до аварийного пульта и получила по руке. Ей потом дважды извинялись.

Ноль погибших. Двое раненых — оба наши, оба по глупости: один зацепился за переборку, второй прищемил палец.

— Захар, — сказал я, когда он доложил. — Убитых точно нет?

— Точно, ваше благородие.

— Хорошо. — Я выдохнул. — Теперь самое главное. Слушайте внимательно и передайте всем.

Я нажал общую трансляцию.

— Говорит Нахимов. Станция наша. Поздравляю. — Я выждал секунду. — Теперь запоминайте: никакого флага. Никаких надписей на стенах. Никаких трофеев. Станция «Устье» продолжает работать как работала.

Пауза в эфире была почти осязаемая.

— Мы будем принимать грузы Конкордата. Расписываться в получении. Отправлять подтверждения. Через восемнадцать часов диспетчер Устья доложит на Тарнис, что смена прошла штатно.

— Ваше благородие, — тихо сказал Дуров рядом. — Диспетчер не станет.

— Станет. — Я выпрямился. — Пойдёмте знакомиться.

Её звали Ирма Гарц.

Она сидела в диспетчерской, держась за отбитую руку, и смотрела на меня с той степенью ненависти, которая делает честь любому гражданскому.

Ей было сорок шесть. Двадцать один год на диспетчерских узлах. Двое детей на планете, о которой я слышал впервые.

Я сел напротив.

— Госпожа Гарц, — закончил я. — Я не буду вам угрожать.

— Уже угрожаете. — Она подождала. — Вы сидите тут с оружием.

— У меня нет оружия. — Я развёл руками. — Я вообще не умею стрелять, если честно. Мне девятнадцать лет и я, по мнению собственного семейства, не в себе.

Она посмотрела на меня внимательнее.

— Что вам нужно?

— Чтобы вы делали свою работу, — отозвался я. — Ровно ту же, что делали вчера. Принимали борта, оформляли грузы, отправляли сводки на Тарнис. Каждые восемнадцать часов.

— Идите к чёрту.

— Разумеется, — согласился я. — Позвольте я объясню, почему вы всё-таки согласитесь, а вы потом решите.

Я откинулся на спинку.

— Вариант первый. Вы отказываетесь. Я не могу вас заставить — пытать людей я не буду, это не благородство, это расчёт: под пыткой вы дадите неверный код, и я об этом не узнаю. Значит, при отказе я просто взрываю станцию и ухожу. Тарнис через сутки перекидывает снабжение на обходные маршруты, теряет треть тоннажа, но живёт. Ваши восемнадцать человек персонала при этом никуда не денутся — я их высажу на ближайшем маршруте, — но станции не будет, а вместе с ней не будет и работы. Ни у вас, ни у них.

Гарц молчала.

— Вариант второй, — пояснил я. — Вы работаете. Станция цела. Ваши люди целы, сыты и заняты делом. Я не трогаю ни одного гражданского и не отправляю ни одного донесения от вашего имени, кроме тех, которые вы напишете сами и покажете мне. Я не буду просить вас лгать про численность имперских кораблей — я буду просить вас про них молчать. Разница есть, и вам она известна лучше меня.

— Это одно и то же, — ответила она.

— Нет. Ложь — это когда вы пишете «всё спокойно», зная, что нет. Молчание — это когда вы пишете «прибыло четыре борта, оформлено, отправлено», и это чистая правда, потому что борта действительно прибыли и действительно оформлены. То, что вы не пишете про меня, — не ваша обязанность. Вы гражданский подрядчик, госпожа Гарц. В вашем контракте нет пункта о разведке.

Она смотрела на меня очень долго.

— Вы дьявольски мерзкий мальчик, — сказала она наконец.

— Мне это говорили, — согласился я. — Правда, в других выражениях и по другому поводу.

— Что будет с грузами?

— Мы их заберём, — сказал я честно. — Это война, и я тут ровно за этим. Но каждый борт получит подпись, печать и квитанцию о приёме груза. По всей форме. Экипажи мы отпустим — без кораблей, но живыми, на попутных.

Гарц медленно подняла брови.

— Квитанцию, — повторила она.

— Обязательно. — Я встал. — Госпожа Гарц, я хочу, чтобы через два месяца в Конкордате никто не мог сказать, что здесь была резня. Пусть говорят, что здесь был грабёж. Грабёж прощают, резню — нет, а мне ещё воевать в этом секторе.

Я пошёл к двери и обернулся.

— И покажитесь нашему врачу. Рука.

Первый сеанс связи с Тарнисом состоялся через одиннадцать часов.

Я стоял за спиной Ирмы Гарц, читая текст, который она написала сама, — я не изменил в нём ни слова, потому что менять было нечего.

«Смена штатная. Принято четыре борта. Оформлено. Отправлено. Передатчик борта 491 неисправен, жалоба зарегистрирована. Гарц».

Она отправила.

Потом откинулась в кресле и сказала, не оборачиваясь:

— Вы понимаете, что рано или поздно они пришлют не сводку, а корабль?

— Понимаю, — ответил я. — Я на это и рассчитываю. Только пусть это будет попозже и поменьше.

— Зачем вам это? — вдруг спросила она. — Вам девятнадцать.

Я подумал.

— Мне сказали идти вперёд и не сворачивать, — продолжил я. — Я решил свернуть.

Диспетчерская сводка, узел «Устье», выдержки за первые двадцать суток:

Сутки 3. Принято 2 борта. Оформлено. Отправлено.Сутки 6. Принято 5 бортов. Оформлено. Отправлено.Сутки 9. Принято 3 борта. Оформлено. Отправлено.Сутки 14. При-

нято 6 бортов. Оформлено. Отправлено.Сутки 19. Принято 4 борта. Оформлено. Отправлено.

Всё — правда. Каждое слово.

За двадцать суток в трюмы соединения «Венец» ушло: топлива — на четырнадцать полных заправок, продовольствия — на четыре месяца для гарнизона вчетверо больше нашего, боеприпасов — больше, чем империя выдала соединению при выходе, в двадцать шесть раз.

Двадцать девять экипажей были высажены на транзитных маршрутах. Все живы. У каждого капитана — квитанция о приёме груза, подписанная лично мичманом Д. А. Нахимовым, с оттиском судовой печати «Стремительного».

Тарнис за эти двадцать суток не получил ничего.

Ни одного борта. Ни одной тонны. И ни одного тревожного донесения.

Крепость Тарнис, двадцать вторые сутки.

Комендант крепости, полковник Ольгерд Тьен, стоял над сводками и не понимал.

Всё было в порядке. Устье докладывало исправно, каждые восемнадцать часов, тем же почерком, тем же формуляром, с той же занудной точностью, с какой Ирма Гарц работала последние четыре года. Борта принимались. Грузы оформлялись. Отправлялись.

Просто ничего не приходило.

Сначала он решил, что это маршрутная неразбериха. Потом — что воруют на транзите; такое случалось, и он даже написал жалобу. На шестнадцатые сутки склады крепости показали шестьдесят один процент, и он перестал верить в неразбериху.

Тьен вызвал начальника штаба.

— Что у нас на Устье?

— Всё штатно, полковник. Сводки поступают.

— Я вижу, что поступают. — Тьен ткнул пальцем в цифру. — Я спрашиваю: где груз?

Начальник штаба посмотрел на цифру. Потом на сводки. Потом опять на цифру.

— Я... — сказал он. — Я запрошу разъяснение.

— Не надо разъяснений, — произнесла Тьен. — Пошлите корабль.

— Один?

Тьен посмотрел на схему. Восемь ржавых имперских корыт где-то в стороне от Тарниса, мальчишка-аристократ, церемониальное назначение — эту сводку он читал три недели назад и уже забыл.

— Пошлите два, — уточнил он. — И пусть доложат сразу, как войдут.

Он ещё не знал, что через сорок один час у него кончится последний резерв терпения, а через двое суток он отдаст приказ, которого от него и ждали.

Глава 7. Ревизия

— Два вымпела, — проговорила Ремизова. — Эсминец типа «Гарм» и корвет сопровождения. Идут прямо на нас. Подход — через одиннадцать часов сорок минут.

В диспетчерской стало очень тихо.

Я посмотрел на схему. Две отметки ползли к Устью ровно, спокойно, никуда не торопясь, — так ходят не в бой, а по служебной надобности.

— Наконец-то.

Дуров закрыл глаза.

— Ваше благородие, — сказал он с той особой интонацией, которую я за три недели научился узнавать: она означала, что сейчас начальник штаба будет говорить очевидные вещи, надеясь, что командующий одумается. — Эсминец типа «Гарм» несёт восемь орудий главного калибра. Один залп «Гарма» разбирает «Стремительного» на запчасти.

— Знаю.

— Мы можем взять их в клещи. Восемь на два — расклад отличный. Потери будут, но...

— Ефим Палыч. — Я развернулся к нему. — Что случится, если два корабля, посланные на проверку, не вернутся?

Дуров помолчал.

— Тарнис поймёт, что здесь противник.

— И?

— И перекинет снабжение на обходные маршруты, — сказал Дуров тоскливо. — Я помню, ваше благородие. Просто мне сорок девять лет, и мне очень хочется хоть раз в жизни решить вопрос стрельбой.

— Мне тоже, — сказал я честно. — Мне всю жизнь хотелось. Один раз попробовал — до сих пор стыдно.

Совет я собрал через десять минут, прямо там, в диспетчерской, чтобы не терять времени на переходы.

Штаб расселся кто где. Штоф сел на стол, Зойка — на подоконник, которого в диспетчерской не было, поэтому она села на кожух кабельного канала и болтала ногой. Пухов встал у стены, прижимая планшет. Бурый остался стоять у двери — он всегда так делал, и я перестал ему на это указывать, потому что человеку, у которого за спиной должна быть стена, лучше не мешать.

Ирма Гарц сидела в своём кресле, потому что это было её кресло, и вставать она не собиралась.

— Диспозиция. — Я взял следующий лист. — Через одиннадцать часов сюда придут два корабля Конкордата. Они пришлют инспекцию — я почти уверен, что пришлют, потому что двадцать два дня бумаги в порядке, а груза нет. Такое проверяют лично, а не по связи.

— Пришлют, — подтвердила Гарц, не поворачивая головы. — И это будет офицер снабжения. Не боевой. У Тьена всё, что касается складов, ведёт Крейн.

Я посмотрел на неё.

Это был первый раз за двадцать два дня, когда она сказала мне что-то, о чём я не спрашивал.

— Спасибо, — ответил я.

— Не за что. Я хочу, чтобы никто не стрелял в моей станции. Только поэтому.

— Отличная причина. — Я повернулся к остальным. — Итак. Вариант первый: драка. Отпадает, я объяснил почему. Вариант второй: спрятаться и не отвечать. Ефим Палыч, что скажете?

— Хуже драки, — отозвался Дуров. — Молчащая станция — это тревога на весь сектор.

— Согласен. Вариант третий: мы пускаем их внутрь.

Штоф перестал болтать ногой.

— Ваше благородие, — сказал он осторожно. — А их не смутит, что тут двести сорок человек в имперской форме?

— Их бы смутило, — согласился я. — Поэтому за одиннадцать часов на станции не останется ни одного человека в имперской форме, ни одного имперского предмета и ни одной надписи на нашем языке. Станция будет ровно такой, какой была двадцать три дня назад.

— А склады?

Вот это был правильный вопрос. Я его ждал.

— Склады, — сказал я, — придётся заполнить обратно.

Пауза.

— Чем? — спросила Зойка очень спокойно, и в этом спокойствии слышалось, как где-то далеко точат нож.

— Тем, что мы из них вынесли.

— Вы, — сказала Зойка, — хотите, чтобы я вернула на склад Конкордата четырнадцать заправок топлива?

— Не четырнадцать. — Я подошёл к схеме. — Семён, сколько груза должно лежать на Устье по нормальному циклу?

Пухов ожил.

— Средний остаток на складах узла — от девяти до четырнадцати процентов оборота, — отчеканил он. — Перевалочный узел не хранит, он передаёт. Больше пятнадцати процентов — это уже затоваривание, и его отмечают в отчётах как проблему.

— Вот. Зоя, нам не нужно возвращать всё. Нам нужно вернуть двенадцать процентов. Ровно столько, чтобы человек, вошедший на склад, увидел нормально работающий склад.

Зойка прищурилась.

— Двенадцать процентов, — заметила она. — И потом мы их заберём обратно?

— Разумеется.

— То есть мы своруем одно и то же дважды.

— Зоя. — Я кивнул. — Я всю службу искал слова, чтобы это красиво объяснить. Вы уложились в одну фразу.

Штоф захохотал так, что чуть не свалился со стола.

Одиннадцать часов — это мало.

Одиннадцать часов — это очень много, если у тебя двести сорок человек, которым наконец-то дали задачу, где не надо умирать.

Работали все.

Восемь вымпелов ушли за газовый гигант и легли в тени, погасив всё, что можно погасить. Ремизова считала параметры сама, дважды, потому что «если нас засекут из-за чужой арифметики, я этого не переживу». В итоге получилось так, что «Стремительный» висел, прикрывшись обломком безымянной каменюки, и от этого мне было почти уютно: я всю войну прятал полки за холмами, и оказалось, что холм — он и в космосе холм.

На станции остались тридцать два человека.

Все — переодетые в комбинезоны станционных подрядчиков, которых у Гарц на складе лежало с избытком, потому что подрядчики их не возвращали никогда.

— Господа, — сказал я, обходя строй в ангаре, — с этой минуты вы гражданские. Гражданский отличается от военного тремя вещами. Первое: он не тянется. Второе: он ноет. Третье: он смотрит начальству в глаза с ленивым недовольством, а не с преданностью.

— А если он и правда тянется? — спросил кто-то. — Привычка.

— Тогда почешитесь. — Я отложил карандаш. — Человек, который вместо стойки «смирно» чешет затылок, выглядит убедительнее любого артиста.

Бурый со своими ушёл в технические ярусы. Двадцать восемь человек десанта, при оружии, в полной тишине, у распределительных узлов — на случай, если всё пойдёт не так. Идея была скверная и мне не нравилась, но иметь кулак в рукаве и не пустить его в ход всегда лучше, чем наоборот.

Пухов трое суток не спал ещё до этого, а тут окончательно превратился в привидение с планшетом.

Он переписывал журналы.

Не подделывал — переписывал. Все двадцать два дня приёма и отправки надо было привести к виду, в котором к ним не придерётся человек, всю жизнь читающий такие журналы. Проблема была в том, что цифры-то в них стояли правдивые: борта приходили, оформлялись, отправлялись. Требовалось только, чтобы совпали десятки мелочей — время швартовок, расход энергии на доках, отметки о ремонте, мусорные ведомости.

— Господин мичман, — сказал он мне на восьмом часу, и голос у него дрожал от счастья, — тут расход воды не сходится.

— Насколько?

— На семнадцать процентов больше нормы. Потому что у нас на станции лишние люди, и они моются.

Я поднял на него глаза.

— Семён. Я на войне двадцать лет. — Я осёкся: — То есть... неважно. Я читал про войну много. Так вот: армии гибли от того, что кто-то не сходился на семнадцать процентов и все решили, что мелочь.

Пухов покраснел от макушки до шеи.

— Что вы предлагаете? — спросил я.

— Списать на протечку в третьем контуре, — выпалил он. — Она там правда есть, ей четыре года, Гарц про неё три раза писала жалобы, и жалобы в реестре лежат!

— Делайте.

Ирму Гарц я нашёл за час до подхода.

Она сидела в диспетчерской одна и смотрела на две отметки, которые уже были не отметками, а двумя настоящими кораблями с настоящими людьми, идущими её спасать.

Я сел рядом. Молча. Довольно долго.

— Не надо, — сказала она наконец.

— Что не надо?

— Не надо говорить речь. Про то, что я поступаю правильно. Я поступаю не правильно. Я поступаю удобно.

— Я не собирался. — Я не стал садиться. — Я хотел сказать другое. Через час у вас будет ровно одна секунда, в которую вы сможете всё изменить. Одно слово в эфир — и мои двести сорок человек умрут в этой станции. Я это понимаю. Вы это понимаете. Давайте не будем делать вид, что нет.

Гарц повернулась ко мне.

— И вы всё равно пускаете их сюда?

— Пускаю.

— Почему?

— Потому что просчитать вас я не могу, — отозвался я. — Я могу просчитать корабль, склад, коменданта Тьена и даже собственного брата. Человека, который сорок шесть лет прожил своей жизнью, я просчитать не могу — данных мало. Поэтому я не считаю. Поэтому я просто держал слово двадцать два дня.

— Двадцать девять экипажей, — отозвалась она.

— Двадцать девять экипажей.

— И квитанции.

— И квитанции.

Она усмехнулась — коротко, невесело.

— Знаете, что самое паршивое? Мне их отдавать некому. Если я скажу правду, меня будут судить за то, что я двадцать два дня писала честные сводки. А если промолчу — за то же самое, только позже.

— Значит, вам вообще не о чем беспокоиться, — проговорил я. — Вы в одинаковом положении при любом раскладе. Люди, которых устраивают оба варианта, обычно выбирают тот, где меньше трупов.

Гарц долго молчала.

— Идите отсюда, — продолжила она. — Мне надо работать.

Инспекция прибыла в десять сорок по станционному времени.

Их было шестеро. Впереди шёл человек лет тридцати пяти, невысокий, с папкой под мышкой и лицом, знакомым мне до боли: так выглядят офицеры снабжения во всех армиях всех миров. Смесь усталости, подозрительности и глубокого убеждения, что все вокруг воруют.

— Лейтенант-инспектор Крейн, — представился он. — Служба тыла крепости Тарнис. Госпожа Гарц?

— Я.

— У меня к вам вопросы.

— У меня к вам тоже, — добавила Гарц. — Где мой ремонтный борт? Я его третий квартал жду.

И вот тут я понял, что всё получится.

Не потому, что она соврала. Она не соврала ни разу. Просто человек, который встречает проверку жалобой на ремонтный борт, — это человек, у которого точно ничего не спрятано, и любой тыловик мира знает это костным мозгом.

Крейн поморщился.

— Госпожа Гарц, у меня сорок восемь суток недопоставки на крепость.

— А у меня протечка в третьем контуре. И четыре года жалоб.

Дальше было четыре часа, за которые я поседел бы, будь мне снова пятьдесят восемь.

Крейн ходил.

Он ходил по докам, по складам, по галереям, и всюду совал нос, и всё записывал в свою папку. За ним ходили Гарц, двое его людей и я.

Я — потому что представился.

— Это ещё кто? — спросил Крейн в первые же пять минут, ткнув в меня пальцем.

— Стажёр, — сказала Гарц скучным голосом. — Прислали в позапрошлом квартале, по программе подготовки гражданских специалистов. Курьером взяли, обратно забыть забыли.

— Как зовут?

— Митя, — отозвался я.

Крейн посмотрел на меня. Худой мальчишка в мешковатом комбинезоне не по росту, с планшетом, который держит неправильно.

— Сколько лет?

— Девятнадцать.

— Что здесь делаешь?

— Считаю, — сказал я тоскливо. — Всё считаю. Она мне даёт списки, я их считаю, потом она говорит, что я неправильно, и я считаю заново.

Крейн хмыкнул.

И потерял ко мне интерес полностью и навсегда — потому что за двадцать один год службы я тоже видел сотни таких стажёров и знал, как они выглядят и как их не замечают.

Дальше я просто ходил за ним и слушал.

На складе номер два он остановился и долго смотрел на штабеля.

— Двенадцать процентов, — произнёс он.

— Двенадцать и четыре, — сказала Гарц.

— Норма.

— Норма.

Он перешёл к следующему стеллажу. Пнул поддон. Поддон стоял как влитой, потому что Зойка Лаптева лично проверила крепёж и лично объяснила грузчикам, что случится, если хоть что-нибудь качнётся.

В третьем доке нас чуть не убило.

Крейн шёл вдоль стены, и я, идя следом, увидел на переборке, на уровне колена, свежую царапину. И в царапине — букву. Кто-то из наших, ожидая швартовки, от скуки нацарапал первую букву своего имени. Нашу букву. Которой в алфавите Конкордата нет.

Я не остановился. Я даже шага не сбил.

Я просто уронил планшет.

Он грохнул о палубу так, что все обернулись, а я сел на корточки, собирая его, и оказался ровно между Крейном и переборкой, и, поднимаясь, вытер царапину рукавом, размазав по ней смазку с пола.

— Руки-крюки, — сказала Гарц с отвращением. — Я же говорю: прислали.

— У меня такой же был, — сказал Крейн неожиданно человечным голосом. — Три года назад. Умный парень, а всё роняет.

Мы пошли дальше.

Я шёл и слушал, как у меня в чужой девятнадцатилетней груди колотится сердце, и думал, что тридцать лет не испытывал ничего подобного, потому что тридцать лет я стоял на холме, а не ходил в разведку.

Обедали в столовой станции.

Это была отдельная операция, и вёл её не я.

Марфа Игнатьевна встретила инспекцию Конкордата борщом.

— Что это? — спросил Крейн, глядя в тарелку.

— Суп, — сказала Марфа Игнатьевна на языке Конкордата, чудовищно, но внятно. — Ешь.

— Из чего?

— Из хорошего.

Крейн съел две тарелки. Один из его людей — три. Никто не задал ни единого вопроса про то, откуда на перевалочном узле Конкордата взялась пожилая кухарка, потому что все шестеро прибывших были военными людьми на казённом довольствии, а военный человек, которого хорошо кормят, не задаёт вопросов из инстинкта самосохранения.

Потом Крейн вытер губы и сказал:

— Госпожа Гарц. Теперь по делу.

Он раскрыл папку.

— За двадцать три дня через ваш узел прошло сорок два борта. Все оформлены. Все отправлены. Ни один не дошёл до Тарниса. Объясните.

Гарц положила руки на стол.

— Не могу, — произнесла она.

— То есть?

— Инспектор, моя зона ответственности заканчивается на выходном створе. Я принимаю борт, оформляю груз, выпускаю борт. Дальше он идёт по маршруту, который прокладывает не Устье, а транзитная служба. Что с ним происходит после створа — я не знаю и знать не обязана.

— Сорок два борта, — повторил Крейн. — Сорок два, госпожа Гарц.

— Сорок два, — согласилась она. — И все сорок два вышли отсюда с полными трюмами. Журналы у вас в руках.

Крейн смотрел в журналы.

Я стоял в углу с планшетом и не дышал.

Вот она, та секунда. Всё, что я построил за двадцать три дня, держалось сейчас на одной женщине, которой я отбил руку, отобрал станцию и не дал ничего, кроме двадцати девяти живых экипажей и слова, которое держал.

— Инспектор. Можно я скажу, что думаю? Неофициально.

— Скажите.

— Их берут на транзите.

Крейн поднял голову.

— Что?

— Их берут после Устья, — ответила Гарц. — Транзитный коридор до Тарниса — семнадцать часов хода. Без охраны. Ни разу за семь лет там никого не трогали, потому что кому нужен коридор в глубоком тылу? А теперь, видимо, кому-то понадобился.

— Пираты?

— Или имперские рейдеры. — Гарц пожала плечами. — Или наши же транзитники продают груз на сторону, а борта прячут. Я двадцать один год на узлах, инспектор. Я такое видела трижды.

Крейн медленно откинулся на спинку.

Я смотрел на его лицо и видел, как у человека складывается картина. Как разрозненные, бессмысленные, бесящие факты вдруг встают в понятный ряд — и как ему становится легче, потому что понятная беда лучше непонятной.

Я знал это ощущение. Я пользовался им как оружием.

Человеку не надо давать ложь. Человеку надо давать удобное объяснение — и он сам достроит его до конца, сам поверит, и будет защищать от чужих сомнений яростнее, чем свои собственные мысли.

— Мне понадобятся копии журналов, — заметил Крейн.

— Забирайте, — сказала Гарц. — И, инспектор... если у вас будет возможность. Ремонтный борт.

Они улетели в семнадцать двадцать.

Я стоял в диспетчерской и смотрел, как две отметки отползают от станции, разгоняются и уходят к броду.

Никто не разговаривал. Тридцать два человека на станции, двадцать восемь в технических ярусах и двести с лишним за газовым гигантом молчали, как будто нас всё ещё могли услышать.

Когда отметки исчезли, Штоф произнёс — тихо, с чувством:

— Ваше благородие. Я больше не буду пить. Совсем. У меня сердце не выдержит.

— Выдержит. Ефим Палыч, общий сбор через час. Начинаем вывозить обратно те двенадцать процентов.

— Есть.

И тут я обернулся к Гарц.

Она сидела в своём кресле и смотрела в пустой экран.

— Госпожа Гарц. Спасибо.

— Идите к чёрту.

— Обязательно. — Я пошёл к двери и остановился. — Только один вопрос. Вы ведь не соврали ни разу. Ни единого слова.

— Ни единого, — сказала она, не оборачиваясь. — Груз действительно берут после Устья. — Пауза. — Просто прямо возле створа.

Ночью я не спал.

Я сидел в каюте, смотрел на портрет — тот самый, парадный, привезённый «для вдохновения» и притащенный мной на корабль, потому что бросить его было почему-то нельзя, — и раскладывал ходы.

Крейн увезёт версию про транзит. Тьен её примет: она объясняет всё и не требует признавать, что противник сидит у него на снабжении. Люди принимают такие версии охотно.

Дальше Тьен сделает то единственное, что можно сделать против пиратов на транзитном коридоре.

Он даст конвой.

Он выделит боевые корабли для сопровождения грузов — не два, а больше, потому что сорок два борта надо отбить обратно и провести. И эти корабли пойдут через брод. По одному. В разгоне. Не имея права свернуть.

Я сам, своими руками, только что заставил коменданта крепости Тарнис вывести гарнизон наружу — и он сделает это добровольно, с чувством выполненного долга, считая, что защищает своё снабжение.

— Старик, — сказал я портрету. — Не смотри на меня так. Я знаю, что это подло.

Старик молчал сурово.

— Ладно, — согласился я. — Красиво тоже.

Я потушил свет.

Двадцать три дня назад двести сорок человек смеялись над мальчишкой, который спрашивал, как летают корабли. Сегодня тридцать два из них четыре часа изображали гражданских перед вражеской инспекцией и не сорвались ни разу.

Это уже была не штрафная команда.

Это уже была армия. Маленькая, ржавая, ворующая одно и то же дважды. Но армия.

Крепость Тарнис, тридцать первые сутки.

— Транзит, — сказал полковник Тьен.

— Транзит, — подтвердил лейтенант-инспектор Крейн. — Узел работает штатно, документы в порядке, склады в норме. Я лично проверил три дока и два склада. Груз уходит с Устья и пропадает в коридоре.

Тьен смотрел на схему.

Ему стало легче. Это он отметил сам, и отметил с неудовольствием, потому что за тридцать лет службы научился не доверять облегчению. Но факты складывались: воровство на транзите — вещь понятная, привычная и, главное, поправимая.

— Сколько нужно, чтобы прикрыть коридор? — спросил он.

Начальник штаба сверился с расчётами.

— Полноценное охранение маршрута — восемь-десять вымпелов. С учётом того, что коридор проходится за семнадцать часов, а конвои надо водить постоянно...

— Двенадцать, — пояснила Тьен. — Возьмите двенадцать.

— Полковник, это треть гарнизона.

— Это треть гарнизона, которая вернёт мне сорок два борта. — Она выдержала паузу. — Без груза мы к весне будем есть переборки. Готовьте.

Он подошёл к иллюминатору.

Где-то там, за семнадцать часов хода, лежала точка перехода Устье — крошечная, скучная, никому не нужная дыра, о которой он за три года ни разу не подумал дольше минуты.

— И вот ещё что, — сказал Тьен, не оборачиваясь. — Отправьте им ремонтный борт. У них там протечка четыре года.

Глава 8. Позиция

— Покажите мне брод, — сказал я.

Ремизова вздохнула так, как вздыхают люди, объясняющие одно и то же в двенадцатый раз.

— Это не брод, господин мичман. Это точка перехода.

— Елизавета Андреевна, я знаю. Мне так удобнее думать. Покажите.

Она вывела схему.

Я смотрел на неё уже третий час подряд и всё никак не мог наглядеться. Красивая была схема. Правильная.

Точка перехода Устье выглядела как воронка — узкое горло, в которое корабль входит только на прямом разгоне, и выходит с той стороны тоже по прямой, потому что иначе его размажет по всей округе законами, которых я не понимал и не собирался понимать. Мне хватало главного: чтобы войти, нужно долго и предсказуемо разгоняться. Чтобы выйти — нужно долго и предсказуемо тормозить.

И всё это время корабль не может ни свернуть, ни остановиться, ни спрятаться.

— Значит, так, — заметил я. — Выход из брода — вот эта область. Насколько она велика?

— Створ выхода — около двухсот километров в поперечнике. По космическим меркам это игольное ушко.

— Сколько кораблей могут выйти одновременно?

— Один, — отозвалась Ремизова. — Технически можно два, если у них идеальная синхронизация и командир — самоубийца.

Я закрыл глаза.

Под Ирмой был мост. Каменный, старый, шириной в три телеги. За мостом — дорога, зажатая между рекой и скалой, полторы версты. По ней шёл корпус в двенадцать тысяч человек, и я стоял на скале с двумя тысячами и смотрел, как они идут, и ждал, пока в теснину втянется треть.

Двадцать девять лет прошло. Другой мир, другое небо, другие законы.

Та же теснина.

— Елизавета Андреевна. — Я встал. — Скажите мне, как штурман. Если корабль выходит из створа и обнаруживает прямо перед собой противника — сколько ему нужно времени, чтобы уйти обратно в брод?

— Обратно нельзя, — сказала Ремизова. — Совсем. Воронка односторонняя, обратный вход требует нового разгона с расстояния. Он может только идти вперёд и тормозить.

— А как быстро он остановится?

— Тяжёлый вымпел — минут за одиннадцать-двенадцать. Корвет — минут за шесть.

Я открыл глаза.

— Ефим Палыч. Вы понимаете, что нам подарили?

Дуров понимал. Я видел по лицу, что он понял ещё вчера и всю ночь не спал.

— Они будут выходить по одному, — сказал он хрипло. — И каждый следующий выйдет ровно туда же, где мы будем добивать предыдущего.

— И не сможет ни свернуть, ни развернуться, ни остановиться раньше двенадцати минут.

— И задний не видит, что происходит с передним, — добавила Ремизова. — Из воронки нет связи. Ни в какую сторону.

Мы посмотрели друг на друга.

— Господа, мы не будем воевать с двенадцатью кораблями. Мы двенадцать раз подряд повоюем с одним.

Позицию я выбирал четверо суток.

Ремизова сначала не понимала, что я делаю. «Что тут выбирать? Пустота во все стороны, никакого рельефа». Потом она втянулась, и на третьи сутки я застал её ползающей по схеме с расчётами и бормочущей: «нет, вот с этой стороны они нас увидят на десять минут раньше, а если сюда...»

Рельеф был. В космосе всегда есть рельеф, надо только знать, что считать холмом.

Холмом оказался обломок безымянного астероида в четырёх тысячах километров от створа — мёртвый камень, за которым можно спрятать крейсер, если крейсер не шевелится.

Оврагом оказалось облако рудной пыли, оставшееся от разработок столетней давности. В нём приборы видели плохо, а глазами — вообще никак.

Солнцем, из-за которого атакуют, оказался газовый гигант: если сидеть в его тени и не греться, тебя не заметят до последнего.

— Диспозиция, — сказал я на пятые сутки, собрав всех.

Схема висела во всю переборку кают-компании.

— «Стремительный» встаёт здесь. — Я показал. — За камнем, носом к створу. Не двигается, не греется, ждёт. Ефим Палыч, вы — наковальня. Ваша задача — не манёвр, а стена. Как только первый выйдет — вы бьёте в лоб и держите. Всё, что от вас нужно, — стоять и не сдохнуть.

— Приятная задача, — сказал Дуров.

— Вы для неё созданы. — Я передвинул руку. — «Резвый» и «Отважный» — в облаке пыли, сбоку и ниже створа. Не стреляете, пока не скажу. Вы — не удар, вы засов. Когда первый попытается отвернуть — а он попытается вбок и вниз, потому что вверх у них не принято, — вы там уже стоите.

— Почему вниз? — спросил Штоф.

— Потому что во всех уставах всех миров, — сказал я, — уклонение отрабатывают вниз. Не спрашивайте почему. Люди так устроены: вниз кажется безопаснее.

Пухов поднял руку, как в школе.

— Господин мичман. Согласно наставлению Конкордата по манёвру уклонения, раздел четыре: «уход из-под огня выполняется преимущественно в нижнюю полусферу».

Штоф уставился на него.

— Ты это откуда знаешь?

— Из трофейного реестра, — сказал Пухов. — Он лежал в описи.

— Семён, — сказал я, — вы вообще что-нибудь читали не из описи?

— Нет, — сказал Пухов серьёзно.

Ложные цели надували двое суток.

Это была отдельная и очень поучительная история.

Первая попытка провалилась целиком. Двадцать четыре тонны строительной пены, выпущенные в вакуум по инструкции с банки, повели себя не так, как обещала инструкция: пена вспухла, застыла и превратилась в двенадцать бесформенных клякс, ни одна из которых не напоминала корабль ни при какой фантазии.

Зойка Лаптева смотрела на них минуты три.

— Ваше благородие, — сказала она наконец. — Это позор.

— Это опыт. Что не так?

— Пена дурная. Она в вакууме прёт во все стороны. Ей форму надо задавать.

— Задавайте.

— Из чего?

Тут-то и выяснилось, зачем на перевалочном узле лежит четыреста рулонов упаковочной сетки.

Со второй попытки получилось. Сетчатый каркас — грубый, кривой, связанный вручную, — заливался пеной, обматывался фольгой от термоизоляции, и на выходе получалось

нечто, что вблизи выглядело как гигантский комок мусора, а на дальнем радаре — как боевой корабль имперского флота.

Двадцать шесть штук. На две больше, чем я рассчитывал.

— Ваше благородие, — доложил Бурый на исходе вторых суток, — люди просят разрешения.

— Какого?

— Назвать их.

Я не сразу понял.

— Кого назвать?

— Корабли эти. — Бурый почесал шрам на скуле. — Пенные. Говорят, непорядок: висит вымпел без имени.

Я посмотрел на него. Бурый был совершенно серьёзен.

— Разрешаю, — сказал я.

К вечеру у меня в соединении числилось двадцать шесть новых вымпелов.

Крейсер «Тёща». Линкор «Похмелье». Эсминцы «Марфа Игнатьевна» — тут я велел переименовать, но было поздно, — «Недоплата», «Три Оклада» и «Так Точно». Корвет «Дурная Голова». Тяжёлый крейсер «Купин», названный в честь надворного советника, у которого я выторговал три с половиной заправки.

Флагманом пенного флота был назначен «Апостол» — просто потому, что кому-то понравилось слово.

— Господин мичман, — сказала Ремизова с каменным лицом, — я обязана внести их в судовые документы?

— Обязаны, — повторил я.

— Все двадцать шесть?

— Елизавета Андреевна. Если мы победим, эти документы будут читать в академиях лет двести. Пусть повеселятся.

Мины были трофейные.

Их нашёл Пухов — в описи третьего склада, где они лежали четырнадцать месяцев, потому что кто-то в Конкордате однажды отправил на Тарнис партию оборонительных мин, а Тарнис их не принял: «стационарной обороны достаточно».

Сто восемьдесят штук.

— Это подарок, — сказал я, стоя над ящиками. — Понимаете, господа? Крепость сама себе отказалась в минах, мины остались на складе, склад мы забрали, и теперь мы поставим их против неё.

— Ваше благородие, — сказал Штоф, — а мы умеем их ставить?

Умели, как выяснилось, трое. Все трое сидели в штрафной за подрыв — двое по глупости, один по злобе.

Мины ставили шесть суток, аккуратно, редкой сетью, не сплошным полем — сплошное поле противник обнаружил бы сразу и остановился бы. Мне не нужно было, чтобы он остановился. Мне нужно было, чтобы он дёрнулся вбок и вниз, туда, где ждали «Резвый» и «Отважный».

— Вы не хотите их убить минами, — сказала Ремизова, глядя на схему постановки.

— Не хочу.

— Почему? Мин хватило бы.

— Потому что мина убивает корабль вместе с трюмом. — Он сел ровнее. — А мне нужны трюмы. И корпуса. Елизавета Андреевна, у нас восемь вымпелов, из которых половина держится на честном слове. Через месяц у меня должно быть двенадцать.

Она посмотрела на меня.

— Вы собираетесь их забрать себе, — медленно сказала она.

— Конечно.

— Это... — Она поискала слово. — Это вообще предусмотрено уставом?

— Елизавета Андреевна, — ответил я. — В старых войнах армии на треть состояли из трофеев. Пушки, кони, повозки, иногда и люди. Тот, кто выбрасывает трофеи, воюет ровно столько, сколько ему выдали. Тот, кто их подбирает, воюет столько, сколько захочет.

Катерников я гонял сам.

Точнее, гонял их Бурый, а я смотрел и требовал повторить.

Двадцать четыре человека, из которых четверо были штатными пилотами, а двадцать — теми, кого посадили в штрафную за угон, кражу и «нецелевое использование техники».

Задача у них была простая и мерзкая: подойти сзади и снизу к кораблю, который тормозит после выхода из брода, и сесть ему на корму. Не стрелять — стрелять катеру по эсминцу бессмысленно. Просто прилипнуть и высадить людей.

— Абордаж, — сказал я на первом разборе.

— Чего? — сказали катерники хором.

— Абордаж. Это когда вы приходите к противнику в гости и убеждаете его сдаться.

— Ваше благородие, — сказал старший из штатных, — так не воюют уже лет двести. Есть же орудия.

— Двести лет никто и брод не запирал. — Я поправил китель. — Скажите, что мешает?

Он подумал.

— Ну... — сказал он. — Технически ничего. Стыковочные узлы у них стандартные. Кормовые башни в мёртвой зоне под четвёртым шпангоутом. Если подойти правильно, они нас просто не увидят.

— Так подходите правильно.

Среди двадцати угонщиков особенно выделялся один.

Ему было двадцать лет, звали его Пашка Ежов, и в штрафную он попал за то, что угнал адмиральский катер, чтобы съездить на соседнюю станцию за девушкой. Съездил. Привёз. Девушку, впрочем, пришлось вернуть тоже.

Летал он так, что у Бурого дважды портилось настроение.

— Ежов, — сказал я после четвёртого выхода. — Где вы учились?

— Нигде, ваше благородие, — сказал Пашка радостно. — Я так.

— Как «так»?

— Ну, я как чувствую, так и веду.

— И часто чувствуете неправильно?

— Один раз было, — признал он. — Но там девушка была не та.

Я смотрел на этого мальчишку — на год старше тела, в котором я сидел, — и думал, что в моём мире таких я забирал в разведку и терял в первый же месяц, потому что они лезли вперёд, а потом мне писали их матери.

— Ежов, — добавил я. — Вы у меня в резерве. Пойдёте четвёртым, не первым.

— Ваше благородие! — обиделся он.

— Четвёртым, — произнёс я. — Первым идёт тот, кто умеет считать. Вы умеете чувствовать. Чувствующих берегут.

На восьмые сутки Дуров задал вопрос, которого я ждал две недели.

Мы сидели в его каюте, разбирая расписание постов, когда он вдруг отложил лист.

— Ваше благородие. Разрешите не по уставу.

— Разрешаю.

— Мы не отправили ни одного донесения.

Я молчал.

— Двадцать девять суток, — возразил Дуров. — Мы взяли узел Устье, отбили сорок два борта, поставили минное поле и готовим бой с гарнизоном крепости. Адмиралтейство об этом не знает ни слова. Формально соединение «Венец» тридцать дней как пропало.

— Формально да.

— Почему?

Я отложил лист тоже.

— Ефим Палыч. Что мне ответят, если я доложу?

Дуров молчал долго.

— Прикажут выполнять приказ, — сказал он наконец. — Идти на Тарнис.

— Вот и я так думаю. — Я откинулся. — Приказ подписан. Приказ ясен: войти в систему и штурмовать крепость. Мне не поручали брать перевалочные узлы. Мне не поручали трофеев. Мне вообще ничего не поручали, кроме как умереть красиво в назначенном месте.

— Это трибунал, — сказал Дуров ровно.

— Это трибунал, — согласился я.

— Вы это понимаете?

— Ефим Палыч. — Я разглядывал его. — Я это понимал в тот день, когда развернул соединение. Скажу больше: я специально не отправлял донесений, чтобы у вас у всех была ровно одна строчка в защиту. «Выполняли приказ командующего, о характере операции не осведомлены».

Дуров медленно поднял голову.

— Вы что, — сказал он, — заранее готовили нам оправдание?

— На вторые сутки перехода, — отозвался я. — Ефим Палыч, я не собираюсь никого топить вместе с собой. Двадцать три года мимо чинов — это ваше, а не моё.

Он встал.

Постоял.

Потом сказал — тихо, но очень отчётливо:

— Ваше благородие. Я прошу занести в журнал, что я был осведомлён о характере операции с самого начала и поддерживал её.

— Ефим Палыч...

— Занесите, — подтвердил Дуров. — Иначе я подам рапорт. Я один раз в жизни развернулся и ушёл, и мне это восемь лет вспоминают. Больше не хочу.

Я перевёл взгляд на него.

И понял, что за тридцать суток у меня появился начальник штаба.

Настоящий. Такой, каких у меня за сорок кампаний было трое.

— Занесу. — Я снял перчатки. — И, Ефим Палыч. Спасибо.

На двенадцатые сутки вернулась разведка.

Два катера ходили к самому Тарнису — не подходя ближе двух суток хода, только слушать. Слушали шесть дней.

— Формируют, — доложил старший, разворачивая запись. — Конвойное соединение. Сбор в зоне отстоя. Наблюдали за пять суток.

— Состав, — сказал я.

— Двенадцать вымпелов, — сказал он и запнулся.

— Что?

— Двенадцать вымпелов было позавчера, ваше благородие. Вчера подошли ещё два. И один из них... — Он вывел запись. — Вот.

Мы смотрели на отметку.

— «Хальдер», — сказал Пухов из угла. Голос у него был странный. — Тяжёлый крейсер типа «Хальдер». Двадцать два орудия главного калибра. Броневой пояс два с половиной метра. Их всего одиннадцать в Конкордате.

Тишина в кают-компании стала плотной.

— Четырнадцать, — сказал Дуров. — И один из них — «Хальдер».

Я смотрел на схему.

Двенадцать я просчитал. Двенадцать выходили из брода по одному, натыкались на наковальню, дёргались вниз, ловили засов, получали абордаж и заканчивались. Двенадцать я разложил на бумаге пять раз подряд, и пять раз сходилось.

«Хальдер» ломал всё. «Хальдер» не остановился бы от огня «Стремительного». «Хальдер» проломил бы наковальню за один залп и пошёл бы дальше, и за ним пошли бы остальные тринадцать.

Все смотрели на меня.

Вот он, момент. Их у командующего немного — три-четыре за всю кампанию. Момент, когда все уже поняли, что расклад сломался, и ждут, что скажет тот, кто их сюда привёл.

Я разглядывал отметку ещё секунд двадцать.

Потом сказал:

— Прекрасно.

— Что? — подтвердил Штоф.

— Прекрасно, — повторил я. — Семён, вопрос. Тяжёлый крейсер типа «Хальдер» — какой у него разгон в воронку?

Пухов заморгал.

— Э-э... Масса покоя двести двенадцать тысяч тонн. Разгонное плечо... — Он побледнел. — Он входит в воронку дольше всех. И тормозит дольше всех.

— Насколько дольше?

— Втрое, — прошептал Пухов. — Он будет тормозить тридцать четыре минуты.

Я обвёл всех взглядом.

— Господа. Самый страшный корабль в их конвое тридцать четыре минуты будет лететь по прямой, не имея возможности ни свернуть, ни остановиться, ни выстрелить назад. — Я улыбнулся. — Ефим Палыч, что мы делаем с телегой, которая застряла в теснине?

Дуров смотрел на схему. И вдруг усмехнулся — некрасиво, зло, впервые за всё время.

— Мы её не трогаем. — Он помолчал. — Мы её пропускаем вперёд и запираем за ней дорогу.

— Именно. — Я смотрел мимо него. — «Хальдер» пусть летит. Пусть тормозит свои тридцать четыре минуты. Пусть уходит хоть до самого Устья, там его встретит минное поле и, при удаче, наша станция, у которой очень крепкие стыковочные узлы.

— А остальные тринадцать?

— А остальные тринадцать, — сказал я, — выйдут в створ и обнаружат, что их флагман ушёл вперёд и не отвечает, а вокруг них тридцать четыре вымпела противника.

Штоф начал считать на пальцах.

— Восемь плюс двадцать шесть, — подсказала Ремизова тоскливо.

— Тридцать четыре. Ваше благородие, из них двадцать шесть — пена.

— Карл, — проговорил я. — На радаре пена не пахнет.

Вечером я вышел в ангар.

Их было полторы сотни — все, кто не на вахте. Сидели на ящиках, на палубе, на кожухах. Ждали.

— Через шесть суток, — сказал я, — сюда придут четырнадцать боевых кораблей.

Гул.

— Из них один — «Хальдер». Кто не знает, что это, спросите у Пухова, он объяснит, и вам станет нехорошо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.